



Анри  
БЕРГСОН

ТВОРЧЕСКАЯ  
ЭВОЛЮЦИЯ  
♦  
МАТЕРИЯ  
И ПАМЯТЬ



**МАТЕРИЯ И ПАМЯТЬ**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Исходной точкой нашей работы был анализ, который читатель найдет в третьей главе этой книги. В этой главе мы показали на анализе воспоминания, что одно и то же явление духа охватывает одновременно множество различных плоскостей сознания, которые намечают все промежуточные степени между грезой и действием: в последней из этих плоскостей, и только в ней, вступает в действие тело.

Но эта концепция роли тела в жизни духа возбуждала многочисленные затруднения как научные, так и метафизические. Из анализа этих затруднений вышла вся остальная книга.

В самом деле, с одной стороны, мы должны были рассмотреть теории, по которым память признается лишь функцией мозга, а для этого выяснить, насколько возможно подробнее, некоторые довольно специальные факты мозговых локализаций: это составляет предмет второй главы нашего сочинения. Но, с другой стороны, мы не могли установить такую резкую разницу между психической деятельностью и ее материальным развитием, не встретив на пути более чем когда либо важных возражений разного рода, возражений, поднимаемых всяким дуализмом. И нам пришлось предпринять углубленный анализ идеи тела, сравнить реалистические и идеалистические теории материи, извлечь из них общие постулаты и наконец расследовать, нельзя ли, устранив всякий постулат, яснее увидеть различие между телом и духом, а одновременно и проникнуть глубже в механизм их связи. Так, мало-помалу, мы были приведены к самым общим проблемам метафизики.

Но путеводной нитью среди этих метафизических трудностей нам служила та же психология, которая вовлекла нас в эти трудности. Если, в самом деле, верно, что интеллект наш неудержимо стремится к материализации своих концепций и к разыгрыванию своих грез, то можно предвидеть, что привычки, образовавшиеся таким образом в действии, восходя до спекуляции, будут затемнять в самом его источнике непосредственное познание нашего духа, нашего тела и их взаимного влияния. Много метафизических трудностей возникает, быть может, из смешения спекуляции с практикой или из того, что мы, желая исследовать какую-нибудь идею теоретически, отклоняем ее в сторону полезного, или, наконец, оттого, что мы пользуемся для мышления формами действия. Если тщательно разграничить действие от познания, многие темные стороны вопроса разъяснятся иногда потому, что некоторые проблемы окажутся решенными, иногда потому, что их не надо будет ставить.

Таков был метод, который мы прилагали уже к изучению проблемы сознания, когда пытались отделить его внутреннюю жизнь от практически полезных символов, его прикрывающих, чтоб уловить его мимолетную особенность.

К этому самому методу мы желали бы прибегнуть и теперь, расширив его, став на этот раз уже не просто внутри духа, но в точке соприкосновения духа и материи. В этом определении философия является сознательным и обдуманым возвратом к данным интуиции. Она должна привести нас анализом фактов и сравнением доктрин к выводам здравого смысла.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ВЫБОР ОБРАЗОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. РОЛЬ ТЕЛА

Представим себе на минуту, что мы не знаем никаких теорий материи и никаких теорий о духе, никаких споров о реальности или идеальности внешнего мира. Итак, я нахожусь в присутствии образов, — принимая это слово в наиболее широком смысле, — образов воспринимаемых, когда я настораживаю свои пять чувств, и невоспринимаемых, когда мои пять чувств бездействуют. Все эти образы действуют и реагируют друг на друга во всех своих элементарных частях, согласно неизменным законам, которые я называю законами природы, и так как совершенное знание этих законов позволило бы, без сомнения, вычислить и предвидеть, что произойдет в каждом из образов, будущее этих образов должно заключаться в их настоящем и не должно прибавлять к ним ничего нового. Среди этих образов есть один, который выделяется из всех остальных тем, что я знаю его не только извне по восприятиям, но также изнутри по чувствованиям: это мое тело. Я разбираю условия, при которых эти чувствования появляются, и нахожу, что они всегда вдвигаются между импульсами, получаемыми мною извне, и движениями, которые я имею совершить; они, как будто, должны оказывать какое-то, не ясно определенное влияние на мой конечный поступок. Я пересматриваю мои чувства; мне кажется, что каждое из них по-своему включает побуждение к действию, но вместе с тем и позволение ждать и даже ничего не делать. Присматриваюсь ближе: откры-

ваю начатые, но не выполненные движения, указание на более или менее полезное решение, но не на принуждение, исключаящее выбор. Вызываю, сравниваю свои воспоминания: припоминаю, что всюду в организованном мире я наблюдал появление этой чувствительности именно тогда, когда природа, одарив живое существо способностью движения в пространстве, ощущением предостерегает вид от грозящих ему общих опасностей, возлагая на индивидов заботу об избежании этих опасностей. Наконец я обращаюсь к своему сознанию для выяснения его участия в чувствах: оно отвечает, что оно действительно присутствует в виде чувства или ощущения во всех поступках, инициативу которых я себе приписываю, но затемняется или исчезает, когда мое действие, становясь автоматичным, тем самым указывает, что оно более в сознании не нуждается. Или все видимости обманчивы, или акт, вызываемый чувством не из тех актов, что могут быть строго выведены из предшествующих явлений, подобно тому как движение выводится из движения; в таком случае он на самом деле прибавляет нечто новое ко вселенной и к ее истории. Будем держаться видимостей. Я просто формулирую, что чувствую и что вижу: *все происходит, как будто в совокупности образов, которую я называю вселенной, нечто действительно новое не может возникнуть иначе, как при посредстве каких-то особых образов, тип которых мне являет мое тело.*

Перехожу теперь к изучению на телах одинаковых с моим этого особого образа, называемого мною моим телом. Я нахожу приводящие нервы, которые передают колебания нервным центрам, затем отводящие нервы, которые исходят из центра, проводят колебания к периферии и приводят в движение части тела или все тело. Я спрашиваю физиолога и психолога о назначении тех и других. Они отвечают, что центробежные движения нервной системы могут

вызвать передвижение тела или частей тела; центростремительные движения или, по крайней мере, некоторые из них порождают представление о внешнем мире. Как это понимать?

Нервы приводящие суть образы, мозг тоже образ, колебания, переданные чувствительными нервами и распространившиеся в мозгу, все это образы. Чтоб образ, который я называю мозговыми колебаниями, породил внешние образы, он должен так или иначе содержать их в себе, и представление о материальной вселенной должно целиком включаться в представление об этом молекулярном движении. Но достаточно высказать такое положение, чтобы понять его нелепость. Мозг составляет часть материального мира, а не материальный мир часть мозга. Уничтожив образ, носящий название материальный мир, вы тем самым уничтожаете мозг и мозговой импульс, части этого мира. Предположите, наоборот, что исчезли эти два образа — мозг и колебание в нем: согласно гипотезе, вы ничего, кроме них, не уничтожаете, т. е. очень мало-незначительную подробность на громадной картине. В общем картина, т. е. вселенная, сохраняется полностью. Сделать мозг условием существования полного образа значит противоречить самому себе, ибо, по гипотезе, мозг составляет часть этого образа. Ни нервы, ни нервные центры не могут, стало быть, обуславливать образа вселенной.

Остановимся на этом последнем пункте. Передо мною внешние образы, потом мое тело, потом, наконец, изменения, вносимые моим телом в окружающие образы. Я вижу, как внешние образы влияют на образ, который я называю своим телом: они передают ему движение. Я вижу также, как это тело влияет на внешние образы: оно возвращает им движение. Следовательно, в целом материального мира тело мое есть образ, действующий, как другие образы, получая и давая движение, с той разницей, может быть, что те-

ло мое как будто выбирает, до некоторой степени, способ отдачи получаемого. Но может ли мое тело вообще, моя нервная система в частности, породить совокупность или часть моего представления о вселенной? Назовем мое тело материей или образом, здесь слово безразлично. Если мое тело материя, оно составляет часть материального мира, и материальный мир, следовательно, существует вокруг него и вне его. Если оно образ, этот образ может давать лишь то, что в него вложено, а так как, по гипотезе, он есть только образ моего тела, то было бы нелепо желать извлечь из него образ всей вселенной. *Тело мое — предмет, предназначенный для передвижения других предметов, — есть, следовательно, только центр действия; оно не может породить представления.*

Но если тело мое является предметом, способным производить реальное и новое действие на предметы его окружающие, оно должно занимать относительно их привилегированное положение. Всякий вообще образ влияет на другие образы способом определенным, даже подлежащим вычислению, согласно с тем, что называется законами природы. Для такого образа нет выбора, и ему незачем ни исследовать его окружающей области, ни заранее испытывать нескольких действий, просто возможных. Требуемое действие совершится само собою, когда пробьет его час. Но я предположил, что роль образа, который я называю своим телом, заключается в оказании реального влияния на другие образы и, следовательно, в решающем выборе между несколькими материально возможными актами. И так как акты эти, без сомнения, внушаются ему большим или меньшим преимуществом, которое он может извлечь из окружающих образов, надобно, чтоб образы эти как-нибудь изобразили, на стороне обращенной к моему телу, ту пользу, которую тело мое могло бы извлечь из них. И я замечаю в самом деле, что размеры, форма, даже цвет внешних

предметов изменяются сообразно с приближением к ним, или отдалением от них, моего тела, что сила запахов, интенсивность звуков увеличивается и уменьшается с расстоянием и, наконец, что само это расстояние служит мерой, в какой окружающие тела, как бы ограждены от непосредственного действия моего тела. По мере того, как расширяется мой горизонт, образы, меня окружающие, как бы вырисовываются на все более однородном фоне и становятся для меня безразличными. Чем более я сужаю этот горизонт, тем предметы, им охваченные, расставляются явственнее, сообразно с большей или меньшей возможностью для моего тела прикасаться к ним и двигать их. Они стало быть, подобно зеркалу, отсылают к моему телу его возможное влияние; они располагаются сообразно с ростом или с убылью власти моего тела над ними. *Предметы, окружающие мое тело, отражают возможное действие моего тела на них.*

Теперь, не касаясь других образов, я слегка видоизменяю образ, называемый моим телом. В этом образе я мысленно перерезываю все приводящие нервы спинномозговой системы. Что произойдет? Несколько ударов скальпеля перережут несколько пучков волокон: остальная вселенная и даже все остальное мое тело останутся чем были. Произведенное изменение, стало быть, незначительно. На самом же деле совершенно исчезает все «мое восприятие». Рассмотрим внимательно, что собственно произошло. Вот образы, составляющие вселенную вообще, затем образы, находящиеся в соседстве с моим телом, и наконец мое тело. В этом последнем образе обычная роль центростремительных нервов заключается в передаче движений головному мозгу и спинному мозгу; центробежные нервы отсылают это движение к периферии. Перерезка центростремительных нервов может произвести только один, действительно понятный, результат: прекращение тока, идущего от периферии

к периферии проходя через центр, а вследствие этого невозможность для моего тела черпать среди окружающих меня вещей количество и качество движения, необходимого для воздействия на них. Это относится к действию и только к действию. А между тем ведь исчезло мое восприятие. Не значит ли это, что мое восприятие намечает в совокупности образов как бы тенью или отражением виртуальные или возможные действия моего тела? Система образов, в которой скальпель произвел лишь весьма ничтожное изменение, это то, что обыкновенно называется материальным миром; с другой стороны то, что исчезло, есть «мое восприятие» материи. Отсюда предварительно два следующих определения: *я называю материей совокупность образов, а восприятием материи эти же образы, отнесенные к возможному действию одного определенного образа, моего тела.*

Углубим исследование этого последнего отношения. Я рассматриваю свое тело с центробежными и центростремительными нервами и с нервными центрами. Я знаю, что внешние предметы сообщают приводящим нервам колебания, которые достигают центра; что в центрах происходят очень разнообразные молекулярные движения, что движения эти зависят от природы и положения предметов. Перемените предметы, измените их соотношения с моим телом, и все изменится во внутренних движениях моих воспринимающих центров. Но все изменилось и в «моем восприятии». Мое восприятие, стало быть, есть функция этих молекулярных движений, оно от них зависит. Но как оно зависит от них? Вы скажете, может быть, что оно их преобразует и что я, в конце концов, не представляю себе ничего, кроме молекулярных движений мозгового вещества. Но может ли это положение иметь какой-либо смысл, раз образ нервной системы и ее внутренних движений, по гипотезе, есть лишь образ некоего материального предмета, тогда

как я представляю себе материальную вселенную в ее целом? Правда, здесь пытаются обойти затруднение. Мозг, говорят нам, аналогичен по своей сущности с остальной материальной вселенной, следовательно, он образ, если вселенная — образ. Приняв затем, что внутренние движения этого мозга порождают или определяют представление о всем материальном мире, — т. е. образе, бесконечно превышающем образ колебаний мозгового вещества, — уже в самих молекулярных движениях и в движении вообще не желают видеть такие же образы, как и остальные, но нечто большее или меньшее, чем образ, во всяком случае нечто, имеющее иную природу, чем образ; а отсюда представление возникает истинно чудесным способом. Материя становится тогда радикально отличной от представления и никакого образа ее мы, следовательно, не имеем; ей противопоставляют сознание не содержащее образов, о котором мы не можем составить себе никакого понятия; наконец, для наполнения сознания выдумывается непонятное действие этой бесформенной материи на эту мысль без материи. Правда же в том, что движения материи, поскольку они образы, очень понятны; в движении не надо искать ничего, кроме того, что в нем видно. Единственным затруднением было бы вывести из этих, совершенно специальных, образов бесконечное разнообразие представлений. Но зачем это надо, если по всеобщему мнению мозговые колебания *составляют часть* материального мира, и образы эти занимают, следовательно, только очень маленький уголок представления? Наконец, что такое эти движения, и какую роль играют эти особые образы в представлении о целом? Для меня сомнения нет: это движения внутри моего тела, предназначенные для того, чтобы приготовить, начав ее, реакцию моего тела на действие внешних предметов. Будучи сами образами, они не могут создать образов; но во всякий момент они указывают,

как компас, который поворачивают, на положение определенного образа, моего тела, по отношению к окружающим образам. В совокупности представлений они весьма мало значат, но имеют капитальное значение для той части представлений, которую я называю своим телом, потому что они во всякий момент намечают возможные его поступки. Итак, между так называемую воспринимающую способность головного мозга и рефлекторными функциями спинного мозга различие только в степени, но нет различия по существу. Спинной мозг превращает испытанные им возбуждения в осуществленные движения, головной мозг развивает их в реакции просто зарождающиеся; но и в том и другом случае роль нервного вещества остается неизменной: проводить, сочетать между собою или задерживать движения. Почему же тогда «мое восприятие вселенной», по-видимому, зависит от внутренних движений мозгового вещества, изменяется и исчезает, когда они уничтожены?

Трудность этой проблемы заключается особенно в том, что серое вещество мозга и его изменения рассматриваются как вещи самодовлеющие, которые можно изолировать от остальной вселенной. В этом отношении, по существу, материалисты и дуалисты сходятся. Они отдельно рассматривают некоторые молекулярные движения мозгового вещества: тогда одни видят в нашем сознательном восприятии фосфоресценцию, сопровождающую эти движения и освещающую их след; другие помещают наши восприятия в сознание, которое непрерывно и по-своему выражает молекулярные колебания коркового вещества. Как в том, так и в другом случае сознанию приписывается задача зарисовывать или толковать различные состояния нашей нервной системы. Но можно ли мыслить нервную систему, живущую без организма, ее питающего, без атмосферы, где дышит организм, без земли, погруженной в эту атмосферу, без солнца,

вокруг которого вращается земля? Обобщая вопрос, разве фикция изолированного материального предмета не предполагает своего рода нелепости, так как предмет этот заимствует свои физические свойства от поддерживаемых им со всеми другими предметами отношений, и так как каждая особенность его, а следовательно, и самое его существование, зависят от места, занимаемого им в целом вселенной? Не будем же говорить, что наши восприятия зависят просто от молекулярных движений мозговой массы. Скажем, что они изменяются вместе с ними, но что самые эти движения неразрывно связаны с остальным материальным миром. А тогда дело уже не в том, чтоб узнать, как наши восприятия связываются с изменениями серого вещества. Вопрос расширяется и ставится вместе с тем в гораздо более ясных выражениях. Вот система образов, которую я называю моим восприятием вселенной. Она рушится до оснований при легких изменениях в известном привилегированном образе, моем теле. Этот образ находится в центре; по нему устанавливаются все остальные образы; при всяком его движении все изменяется, как при повороте калейдоскопа. С другой стороны мы имеем те же образы, но отнесенные каждый к самому себе. Несомненно, они оказывают друг на друга влияние, но так, что эффект всегда остается пропорциональным причине: это я называю вселенной. Как объяснить существование этих двух систем и то, что те же образы, относительно неизменные во вселенной, бесконечно изменчивы в восприятии? Этот вопрос, стоящий между реализмом и идеализмом, может быть, даже между материализмом и спиритуализмом, формулируется, по нашему мнению, следующим образом: *Почему одни и те же образы могут входить одновременно в две различные системы, — одну, где каждый образ изменяется для себя и в совершенно определенной мере воздействия на него окружающих образов; другую, где все образы изме-*

*няются применительно к одному и в той изменчивой мере, в какой они отражают возможное действие этого привилегированного образа?*

Всякий образ будет внутренним по отношению к некоторым образам и внешним по отношению к другим; но про совокупность образов нельзя сказать, ни что она для нас внутренняя, ни что она для нас внешняя, так как внутренность и внешность суть только отношения между образами. Спросить себя, существует ли вселенная только в нашей мысли или и вне ее, значит формулировать вопрос в неразрешимой постановке, даже предположив, что он понятен, значит обрекать себя на бесплодный спор, где выражения: мысль, существование, вселенная — будут по необходимости поняты обеими сторонами в самых различных смыслах. Чтобы разрешить спор, надобно прежде всего найти общую почву для начала борьбы, и так как — в чем обе стороны согласны — мы познаем вещи только в виде образов, мы должны поставить вопрос на почву образов и только образов. Ни одна философская доктрина не оспаривает, что одни и те же образы могут одновременно входить в две различные системы; одна из них принадлежит *знанию*, где каждый образ, отнесенный к самому себе, имеет абсолютное значение, другая составляет мир *сознания*, где все образы приноровлены к центральному образу, нашему телу, следуя за его изменениями. Тогда вопрос между реализмом и идеализмом становится очень ясным: каковы взаимные отношения этих двух систем образов? Легко видеть, что субъективный идеализм произведет первую систему из второй, а материалистический реализм выведет вторую систему из первой.

Исходная точка реалиста — вселенная, т. е. совокупность образов, управляемых в своих взаимных отношениях неизменными законами, где следствия пропорциональны причинам и где нет центра, а все

образы разворачиваются в одной бесконечной плоскости. Но он вынужден признать, что, помимо этой системы, существуют восприятия, т. е. системы, где те же самые образы отнесены к одному из них, располагаются вокруг него на различных плоскостях, и все преобразуются при незначительных изменениях этого центрального образа. Именно из этого восприятия исходит идеалист: в системе образов, им принимаемых, есть образ привилегированный, его тело, по которому устанавливаются остальные образы. Но когда он хочет связать настоящее с прошедшим и предвидеть будущее, он вынужден покинуть это центральное положение, поместить вновь все образы на одну плоскость, предположить, что они изменяются уже не для него, а для самих себя, и рассматривать их как части системы, где каждое изменение точно соответствует своей причине. Только при этом условии знание вселенной делается возможным; а так как это знание существует, так как при его помощи удастся предвидеть будущее, то гипотеза, его обосновывающая, не есть произвольная гипотеза. Первая система доступна опыту в настоящем, но мы верим во вторую уже тем одним, что утверждаем непрерывность прошедшего, настоящего и будущего. Итак, в идеализме, как в реализме, дается одна из систем и из нее пытаются вывести другую.

Но, делая этот вывод, ни реализм, ни идеализм не могут дойти до конца, потому что ни одна из этих двух систем образов не заключается в другой, а каждая довлеет себе. Если вы принимаете систему образов, лишенную центра, где каждый элемент обладает своей абсолютной величиной и значением, я не вижу, зачем эта система приобщает к себе вторую, где каждый образ принимает неопределенное значение, подчиненное всей изменчивости центрального образа. Чтобы объяснить восприятие, надобно будет, следовательно, прибегнуть к какому-нибудь *deus ex machina* вроде ма-

териалистической гипотезы сознания эпифеномена. Среди всех образов, подверженных абсолютным изменениям, выберут тот, который называется мозгом, и внутренним состояниям этого образа припишут странное преимущество непонятным образом удвоиться и воспроизводить все остальные образы, но на этот раз относительные и изменчивые. Правда, потом этому процессу представления не будут придавать никакого значения, в нем будут видеть фосфоресценцию от мозговых колебаний. Как будто мозговое вещество, мозговые колебания, заключенные в образах, могут быть иной природы, чем сами образы! Всякий реализм, стало быть, сделает, из восприятия случайность, следовательно, тайну. И наоборот, если вы примете систему неустойчивых образов, расположенных вокруг привилегированного центра, глубоко изменяющихся при неощутимых передвижениях этого центра, вы прежде всего исключаете порядок природы, порядок, безразличный к точке, на которую становишься, и к звену, с которого начинаешь. Вы не сможете восстановить этот порядок, не прибегая в свою очередь к *deus ex machina*, напр. к гипотезе какой-то предустановленной гармонии между вещами и духом или, по крайней мере, говоря языком Канта, между чувственностью и рассудком. В этом случае наука будет случайностью и успех ее тайной. Вам не вывести, стало быть, ни первой системы образов из второй, ни второй из первой, и обе эти противоположные доктрины, реализм и идеализм, поставленные на одну почву, с противоположных сторон наталкиваются на одно и то же препятствие.

В основе обеих доктрин вы откроете один общий им постулат. Мы сформулируем его следующим образом: *восприятие представляет чисто спекулятивный интерес; оно — чистое познание*. Весь спор вертится на том, какое место должно отвести этому познанию по сравнению с научным познанием; не-

которые принимают порядок, требуемый наукой, и видят в восприятии лишь смутное и временное познание. Другие ставят восприятие впереди, возводят его в абсолют и смотрят на науку, как на символическое выражение реального. Но для тех и для других воспринимать значит прежде всего познавать.

Мы оспариваем именно этот постулат. Он опровергается даже самым поверхностным исследованием строения нервной системы у животных. Его нельзя принять, не затемняя тройной проблемы материи, сознания и их отношения.

Что мы видим, наблюдая шаг за шагом развитие внешнего восприятия, начиная с монары и кончая высшими позвоночными? Мы находим, что уже в состоянии простой протоплазматической массы живая материя обладает раздражимостью и сокращаемостью, что она подвержена влиянию внешних агентов и отвечает на них механическими, физическими и химическими реакциями. По мере того как мы поднимаемся в серии организмов, мы замечаем, что физиологическая работа разделяется. Появляются нервные клетки, они дифференцируются и обнаруживают склонность группироваться в систему. Вместе с тем животное реагирует на внешнее возбуждение более разнообразными движениями. Но даже когда полученный импульс не переходит немедленно в движение, он, по-видимому, как бы ждет случая его совершить; то самое впечатление, которое передает организму перемены окружающей среды, побуждает или подготавливает его приспособиться к ним. У высших позвоночных различие между чистым автоматизмом, локализирующимся по преимуществу в спинном мозгу, и волевой деятельностью, требующей вмешательства головного мозга, выражено наиболее резко. Можно представить себе, что полученное впечатление, вместо того чтоб перейти в движение, одухотворяется, становясь познанием. Но достаточно срав-

нить строение головного мозга со строением спинного мозга, чтоб убедиться, что между функциями мозга и рефлекторной деятельностью спинномозговой системы различие в степени сложности, а не по существу. В самом деле, что происходит при рефлексе? Центростремительное движение, переданное возбуждением, сейчас же отражается, при посредстве нервных клеток спинного мозга, в центробежное движение, вызывая мышечное сокращение. С другой стороны, в чем заключается функция головного мозга? Периферический импульс, вместо того чтобы прямо распространиться на двигательную клетку спинного мозга и вызвать в мускуле нужное сокращение, поднимается сперва к головному мозгу и затем спускается к тем же двигательным клеткам спинного мозга, которые участвовали в рефлекторном движении. Что же прибавилось при этом обходном пути, и зачем импульс доходил до так называемых чувствительных клеток мозговой коры? Я никак не могу допустить, чтобы там он черпал чудодейственную силу для превращения в представление о вещах, и считаю к тому же эту гипотезу излишней, что сейчас будет видно. Но мне совершенно ясно, что эти клетки различных, так называемых сенсориальных, областей коркового слоя, клетки промежуточные между конечными разветвлениями центростремительных волокон и двигательными клетками Роландовой зоны, позволяют полученному импульсу *произвольно* достигнуть того или другого двигательного механизма спинного мозга и таким образом *выбрать* порождаемое им действие. Чем больше разовьется этих промежуточных клеток, тем больше от них будет отходить амебоидных отростков, способных, конечно, различно сближаться, тем многочисленнее и разнообразнее станут также пути для одного и того же импульса, пришедшего с периферии, и тем больше, следовательно, будет систем движений, между которыми при

одном и том же раздражении останется выбор. Итак, по нашему мнению, головной мозг ничто иное как род телефонной станции: его роль — дать сообщение или заставить ждать. К тому, что он получает, он не прибавляет ничего; но так как все органы восприятия отсылают туда свои конечные отростки, а все двигательные механизмы спинного и продолговатого мозга имеют там своих особых представителей, головной мозг является действительно центром, где периферическое раздражение соприкасается с тем или другим двигательным механизмом, уже не обязательным, а выбранным. С другой стороны, так как при одном и том же импульсе, пришедшем от периферии, в этом веществе могут *одновременно* открываться бесчисленные двигательные пути, то импульс этот имеет способность разделяться там до бесконечности и, следовательно, теряться в несчетных, только зарождающихся, двигательных реакциях. Итак, головной мозг то проводит принятое движение к избранному для воздействия органу, то открывает этому движению *зa раз* все двигательные пути, чтоб оно наметило в них все возможные воздействия, которыми оно чревато, и чтоб при таком рассеянии оно могло себя проанализировать. Другими словами, головной мозг представляется нам орудием анализа по отношению к полученному движению и орудием выбора по отношению к движению произведенному. Но и в том, и в другом случае роль его сводится к передаче и к разделению движения. Для познания нервные элементы не работают ни в высших центрах коркового вещества, ни в спинном мозгу: они только сразу намечают множественность возможных действий или организуют одно из них.

Сказанное сводится к тому, что нервная система совсем не аппарат для образования или даже приготовления представлений, ее функция — получать возбуждение, подготавливать двигательные аппараты

и предоставлять данному возбуждению возможно большее число этих аппаратов. С развитием нервной системы все многочисленнее и отдаленнее становятся точки пространства, которые она приводит в связь с двигательными механизмами, все более осложненными: так растет простор, который нервная система предоставляет нашему воздействию, и именно этим определяется степень ее совершенства. Но если нервная система во всем животном мире построена в виду все менее и менее необходимого действия, то нельзя ли предположить, что восприятие, совершенствование которого находится в зависимости от совершенства нервной системы, также всецело направлено в сторону действия, а не в сторону чистого познания? А в таком случае, не должно ли растущее богатство восприятия символизировать растущую долю непредопределенности, оставляемой на выбор живому существу в его поведении относительно вещей? Будем же исходить от этого непредопределенного как из истинного принципа. Приняв эту непредопределенность, будем искать, нельзя ли вывести из нее возможность или даже необходимость сознательного восприятия. Другими словами, возьмем систему образов солидарных и тесно связанных, которую называют материальным миром, и вообразим в этой системе то здесь, то там *центры реального действия*, представляемые живой материей: необходимо, говорю я, чтобы вокруг каждого из этих центров расположились образы, подчиненные положению этого центра и варьирующие соответственно этому положению; я говорю, следовательно, что сознательное восприятие должно явиться, и более того, что возможно понять, как это восприятие возникает.

Заметим прежде всего, что появление сознательного восприятия связано строгим законом с интенсивностью действия, которым располагает живое существо. Согласно нашей гипотезе восприятие появ-

ляется в тот самый момент, когда полученный материей импульс не продолжается в необходимой реакции. Для возникновения импульса в простейших организмах нужно непосредственное соприкосновение предмета, и тогда реакция задерживаться не может. Так у низших видов осязание и пассивно и активно одновременно; оно служит для распознавания добычи и для захвата ее, для ощущения опасности и произведения усилия, чтоб избегнуть ее. Различные отростки протистов, ножки иглокожих служат органами движения и осязательных восприятий, жгучий аппарат кишечно-полостных есть аппарат восприятия и вместе с тем средство защиты. Словом, чем непосредственнее должна быть реакция, тем более восприятие походит на простое соприкосновение, и реакция едва отличается тогда от механического импульса, за которым следует необходимое движение. Но когда реакция становится менее неизбежной и оставляет более простора колебанию, по мере этого увеличивается и расстояние, при котором животным чувствуется влияние интересующего его предмета. Зрением, слухом оно приходит в соприкосновение все с большим числом вещей, испытывает все более отдаленные влияния; сулят ли ему эти предметы преимущества или грозят опасностью, выполнение и угроз и обещаний отсрочено. Часть независимости, которой располагает живое существо или, как мы скажем, зона непредопределенного, которая окружает его деятельность, позволяет, стало быть, а priori определить число и удаленность вещей, имеющих к нему отношение. Каково бы ни было это отношение, какова бы ни была внутренняя природа восприятия, можно утверждать, что амплитуда восприятия пропорциональна непредопределенности последующего действия, и установить следующий закон: *восприятие располагает пространством в той самой мере, в какой действие располагает временем.*

Но почему это отношение организма к более или менее отдаленным предметам принимает особую форму, форму сознательного восприятия? Мы рассмотрели, что происходит в организованном теле; мы видели движения переданные или задержанные, преобразованные в действия осуществившиеся или рассеянные в виде зарождающихся действий. Нам казалось, что движения эти имеют значение для действия и только для действия; они не имеют решительно никакого касательства к процессу представления. Затем мы рассмотрели само действие и непредопределенность его окружающую, непредопределенность, заложенную в самом строении нервной системы; строение ее скорее имеет в виду эту непредопределенность, чем представления. Из этой непредопределенности, принятой как факт, мы могли прийти к заключению о необходимости восприятия, т. е. к изменчивому отношению между живым существом и более или менее отдаленными влияниями интересующих его предметов. Отчего восприятие это есть сознание и почему все происходит так, *как будто* сознание это рождается из внутренних движений мозгового вещества?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы упростим прежде всего условия, в которых происходит сознательное восприятие. На самом деле нет восприятия не насыщенного воспоминаниями. К непосредственным данным наших чувств мы примешиваем тысячи подробностей нашего прошлого опыта. Чаще всего эти воспоминания оттесняют наши реальные восприятия, и тогда мы удерживаем от них лишь некоторые указания, простые «знаки», которые должны напомнить нам старые образы. Удобство и быстрота восприятия получаются этой ценой, но отсюда же происходят всякого рода иллюзии. Ничто не препятствует заметить это восприятие, всецело проникнутое нашим прошлым восприятием, которое имело бы сознание

зрелое и сложившееся, но замкнутое в настоящем и всецело занятое точным отражением внешнего объекта. Нам скажут, может быть, что мы строим произвольную гипотезу и что это идеальное восприятие, полученное путем отстранения всех индивидуальных случайностей, совсем не отвечает реальности. Но мы именно надеемся показать, что индивидуальные случайности присоединяются к этому безличному восприятию, что это восприятие лежит в самой основе нашего познания вещей, что незнание, неумение отличить его от прибавленного или убавленного памятью было причиной того, что из восприятия сделали род внутреннего и субъективного видения, которое отличается от воспоминания лишь большей интенсивностью. Такова будет наша первая гипотеза. Она, конечно, ведет за собою другую. Как бы кратко ни было, по предположению, восприятие, оно всегда имеет некоторую длительность и требует, следовательно, усилия памяти, которая связывает множество моментов. Мы постараемся доказать, что даже «субъективность» чувственных качеств зависит преимущественно от своего рода сокращения реального, производимого нашей памятью. Короче, память в своих двух формах, — в том, что она покрывает слоем воспоминаний основу непосредственного восприятия, и в том, что она сокращает множество моментов, — составляет главный вклад индивидуального сознания в восприятие, субъективную сторону нашего познания вещей. Пренебрегая этим вкладом для большей ясности нашей мысли, мы зайдем много дальше, чем следует по начатому нами пути. Чтобы исправить возможную при этом крайность наших выводов, нам придется только вернуться назад и внести поправки помощью восстановления памяти. Поэтому последующее надобно принимать как схематическое изложение, и мы просим читателя временно понимать под восприятием не мое конкретное и сложное восприятие, вздутое

моими воспоминаниями и всегда имеющее известную длительность, но *чистое* восприятие, существующее более в логической возможности, чем на деле, восприятие, которое имело бы существо живущее, как живу я, но поглощенное настоящим и способное, устранив память во всех ее видах, получить непосредственное и мгновенное видение материи. Станем на эту гипотезу и посмотрим, как объясняется сознательное восприятие.

Вывести сознание было бы задачей слишком смелой, в настоящем случае это и ненужно, потому что раз дан материальный мир, тем самым дана совокупность образов и, к тому же, ничего иного безусловно не может быть дано. Никакая теория материи не может избежать этой необходимости. Сведите материю на движущиеся атомы, эти атомы, даже лишенные физических качеств, все же определяются только в соотношении с возможным видением или соприкосновением, первое без света, второе не материальное. Сгустите атом в центры силы, растворите его в вихри, движущиеся в непрерывной жидкой среде, эта жидкость, эти движения, эти центры определяют себя только по отношению к бессильному осязанию, к недействительному импульсу, к обесцвеченному свету; все это образы.

Правда, образ может *быть*, не будучи *воспринят*; он может быть налицо при отсутствии представления; и различие между понятиями: существовать и быть представленным — по-видимому, соответствует различию между самой материей и нашим сознательным восприятием ее. Рассмотрим вещи ближе и посмотрим, в чем, в точности, состоит это различие. Если бы во втором понятии было нечто большее, чем в первом, если бы для перехода от существования к представлению приходилось прибавить нечто, то различие было бы неустранимо и переход от материи к восприятию был бы окружен непроницаемой

тайной. Иное было бы при возможности перехода от первого понятия ко второму путем уменьшения; если бы представление образа было меньше, чем его присутствие, в таком случае существующим образам достаточно было бы откинуть нечто от себя, чтоб превратиться в представление. Возьмем образ, который я называю материальным предметом; я имею о нем представление. Почему образ этот сам в себе есть, по видимому, не то, чем он является для меня? Будучи частью в совокупности других образов, он продолжается в следующие за ним образы, подобно тому как сам продолжал предшествующие. Чтобы преобразовать самое его существование в представление, было бы достаточно уничтожить сразу все последующее, все предшествовавшее, а также и то, что его наполняет, сохранив от него лишь внешнюю корку, поверхностную пленку. Этот образ, эта объективная реальность отличается от образа представляемого тем, что он должен действовать каждой своей точкой на все точки других образов, передавать совокупность всего получаемого, противопоставлять всякому действию воздействие равное и обратное, наконец, быть путем, по которому проходят во всех направлениях изменения, распространяющиеся по необъятности вселенной. Его можно превратить в представление, если бы его можно было изолировать, в особенности его оболочку. Представление всегда присутствует, но виртуальное, нейтрализованное, в момент, когда могло бы перейти в действие необходимостью продолжаться и затеряться в чем-то другом. Чтобы достигнуть этого превращения, надо не осветить предмет, а наоборот, затемнить некоторые его стороны, лишить его большей части его самого, так, чтобы осадок вместо того, чтоб заключаться в окружающем, как *вещь*, выделился из него, как *картина*. Если живые существа являются во вселенной «центрами непредопределенности», и если степень этой непредопределенности измеря-

ется числом и совершенством их функций, то ясно, что уже одно их присутствие может стать равнозначным устранению тех частей предметов, в которых функции их не заинтересованы. Они как бы позволяют пройти сквозь себя тем внешним движениям, которые им безразличны; другие выделенные станут «восприятиями» в силу этого выделения. Для нас тогда все произойдет так, как если бы мы отражали на предметы свет, исходящий от них; свет, который проходил бы беспрепятственно, никогда не был бы замечен. Образы, нас окружающие, как бы повернуты к нашему телу стороной, нас интересующей и освещенной; они отделят от своей субстанции то, что мы задержим на ходу, на что мы способны влиять. Безразличные друг другу в силу основного механизма, их связывающего, они обращают один к другому зараз все свои стороны, другими словами, они действуют и реагируют друг на друга всеми своими элементарными частями, и ни один из них, следовательно, не воспринимает и сознательно не воспринимается. Наоборот, если они наталкиваются где-либо на некоторую самопроизвольность реакции, их действие соответственно уменьшается, и это уменьшение их действия и есть именно наше представление о них. Наше представление о вещах, стало быть, зарождается, когда они, наталкиваясь на нашу свободу, отражаются от нее.

Когда луч света переходит из одной среды в другую он обыкновенно меняет направление. Но разница в плотности обеих сред может быть такова, что для известного угла падения не будет возможно преломление. Тогда происходит полное отражение. Получается мнимое изображение световой точки как бы символизирующее невозможность для световых лучей следовать далее по пути. Восприятие есть явление того же рода. Дана совокупность образов материального мира вместе с совокупностью их внутренних элементов. Но если вы предположите существо-

вание центров истинной активности, т. е. активности самопроизвольной, то лучи доходящие до нее, интересующие эту активность, вместо того чтоб пройти сквозь эти центры, будут как бы возвращаться и вырисовывать контуры предмета их отсылающего. В этом не будет ничего положительного, ничего прибавленного к образу, ничего нового. Предметы откинут только нечто, нечто от своего реального действия и будут изображать свое виртуальное действие, т. е. в сущности возможное влияние живого существа на них. Восприятие походит, стало быть, на явление отражения, порождаемое неудавшимся преломлением; это как бы действие миража.

Иначе сказать, *быть* и *быть сознательно воспринятыми*, это различия только в степени, различия по существу здесь нет. Реальность материи состоит в совокупности всех ее элементов и всех родов действий этих элементов. Наше представление о материи есть мера нашего возможного действия на тела; оно получается после выключения всего, что не касается наших потребностей или вообще наших функций. Можно было бы сказать в известном смысле, что восприятие какой-нибудь бессознательной материальной точки в своей мгновенности бесконечно обширнее и полнее нашего, потому что точка эта собирает и передает все действия всех точек материального мира, между тем как сознание наше достигает только некоторых частей и с некоторых сторон. Сознание, при внешнем восприятии, состоит именно в этом выборе. Но в этой бедности нашего сознательного восприятия есть нечто положительное, уже предвещающее дух: это *различение* в этимологическом смысле этого слова.

Вся трудность занимающей нас проблемы происходит от того, что восприятие представляют себе как фотографию вещей, снятую с определенной точки специальным аппаратом, органом восприятия, кото-

рая затем проявляется в мозговом веществе при помощи какого-то неизвестного химического и психического процесса. Как не видеть, что фотография, если тут есть фотография, уже снята внутри вещей и для всех точек пространства? Ни метафизика, ни физика не могут избежать этого заключения. Составьте вселенную из атомов: в каждом из них чувствуются количественно и качественно действия, производимые всеми атомами материи и изменяющиеся в зависимости от расстояния. Предположите центры сил: линии сил, испускаемые по всем направлениям всеми центрами, понесут к каждому центру влияния всего материального мира. Предположите монады: каждая монада, как думал Лейбниц, будет зеркалом вселенной. Стало быть в этом пункте все сходятся. Но если принять во внимание одно какое-нибудь место вселенной, можно сказать, что действие всей материи проходит в нем без сопротивления и без потери, и что фотография целого в нем просвечивается: за стеклом не хватает черного экрана, на котором появилось бы изображение. Наши «зоны неопределенности» играют в некотором роде роль экрана. Они не прибавляют ничего к тому, что есть; они только пропускают реальное действие и задерживают действие виртуальное.

И это не гипотеза. Мы ограничиваемся лишь формулировкой данных, без которых не может обойтись ни одна теория восприятия. В самом деле, ни один психолог не начнет изучения внешнего восприятия, не приняв, по крайней мере, возможности материального мира, т. е. в сущности возможного восприятия всяких вещей. Из этой возможной материальной массы выделяют особый предмет, который я называю своим телом, и в нем воспринимающие центры: мне покажут импульс, приходящий из какой-нибудь точки пространства, проходящий по нервам и достигающий центров. Но здесь совершается нечто неожиданное.

Материальный мир, окружавший тело, тело, заключавшее мозг, мозг, где отличали центры, — все это сразу устраняется; точно по мановению волшебного жезла заставляют появиться, как вещь совершенно новую, представление о том, что было принято с самого начала. Это представление выдвигают за пределы пространства, чтобы оно не имело уже ничего общего с материей, от которой исходило: что касается материи, без нее очень желали бы обойтись, но этого сделать нельзя, потому что явления ее связаны между собою столь строгим порядком, столь безразличным к избираемой точке отправления, что эта правильность и это безразличие в самом деле образуют независимое существование. Поневоле приходится сохранить призраки материи; зато ее лишают всех качеств, дающих жизнь. В бесформенном пространстве выкраивают движущиеся фигуры; или (что сводится почти к тому же) выдумывают количественные отношения, сочетающиеся между собою, и функции, которые, эволюируя, развивают свое содержание: тогда представление, со включенными в него останками материи, свободно развернется в непротяженном сознании. Но недостаточно кроить, надо и шить. Надо объяснить, как качества, которые вы отделили от их материальной подкладки, соединятся с нею вновь. Каждый атрибут, удаляемый вами из материи, расширяет промежуток между представлением и его объектом. Если вы сделаете материю непротяженной, как приобретет она протяженность? Если вы сведете ее к однородному движению, откуда возникнет качество? А главное, как представить себе отношение между вещью и образом, между материей и мыслью, если, согласно определению, каждое из этих двух понятий обладает только тем, чего нет у другого? Затруднения при этом будут возникать на каждом шагу, и всякое усилие ваше отстранить одно из них вызовет только новые затруднения. Чего же мы требуем от вас? Про-

стого отказа от взмаха волшебного жезла и продолжения, первоначально взятого пути. Вы показали нам внешние образы, достигающие органов чувств, производящие изменения в нервах, проводящие свое влияние до мозга. Идите до конца. Движение пройдет сквозь мозговое вещество, пробудет там и тогда перейдет в волевой акт. Вот весь механизм восприятия. Что касается самого восприятия, как образа, вам нечего описывать его генезис, потому что вы приняли его сначала, и не могли не принять его; приняв мозг, приняв малейшую частицу материи, разве вы не приняли тем самым совокупности образов? *Итак, вам следует объяснить не то, как зарождается восприятие, но как оно себя ограничивает, ибо оно должно быть образом всего, а на самом деле сводится к тому, что вас интересует.* Но если оно отличается от образа, как такового, именно тем, что части его устанавливаются в соотношении с каким-то изменчивым центром, то ограничение это легко понять: неопределенное в принципе, оно сводится на самом деле к изображению той доли неопределенности, которая предоставлена поступкам особого образа, называемого нашим телом. С другой стороны, непредопределенность движений тела, как результат строения серого вещества мозга, дает точную меру протяженности нашего восприятия. Нечего, стало быть, и удивляться, если все происходит так, *как будто* наше восприятие вытекает из внутренних движений мозга и как бы исходит из корковых центров. Исходить из них оно не может, потому что мозг есть образ, как всякий другой, окутанный массой других образов, и было бы нелепо думать, что содержащее может исходить из содержаемого. Но так как строение мозга дает подробный план движений, из которых вы можете выбирать любое, так как, с другой стороны, часть внешних образов, как бы возвращающаяся к себе для образования восприятия, рисует как раз все те точки во вселенной, которых эти

движения могут достигать, то сознательное восприятие и мозговые изменения строго друг другу соответствуют. Обоюдная зависимость этих двух понятий происходит просто от того, что оба они функции третьего, именно непредопределенности воления.

Возьмем, напр., световую точку  $P$ , лучи которой действуют на различные точки сетчатки  $a, b, c$ . В этой точке  $P$  наука локализует колебания известной амплитуды и известной длительности. В той же точке  $P$  сознание воспринимает свет. Мы намерены показать в дальнейшем изложении, что и то и другое правильно, что нет существенной разницы между этим светом и этими движениями, если этому движению будут приписаны единство, нераздельность и качественная разнородность, которые отрицаются абстрактной механикой, и если эти чувственные качества будут рассматриваться как *сокращения*, производимые нашей памятью: знание и сознание совпадут тогда в мгновенном. Ограничимся пока, не углубляя смысла слов, утверждением, что точка  $P$  посылает к сетчатке световые колебания. Что произойдет? Если бы зрительный образ точки  $P$  не был дан, пришлось бы исследовать, как он образуется, и мы скоро остановились бы перед неразрешимой задачей. Но так или иначе его нельзя не принять сначала: единственным вопросом, стало быть, является, зачем и как этот образ *выбран*, чтобы стать частью моего восприятия, в то время как бесконечное множество других образов остается из него исключенным. Но я вижу, что эти колебания, переданные от точки  $P$  к различным тельцам сетчатки, проводятся к подкорковым и корковым оптическим центрам, часто также и к другим центрам, и что центры эти то передают их двигательным механизмам, то временно задерживают их. Стало быть, полученный импульс становится действенным именно благодаря заинтересованным нервным элементам, которые символизируют непредопределен-

ность воления; от их целостности эта непредопределенность зависит; и вследствие этого всякое поражение этих элементов, уменьшая наше возможное действие, уменьшит настолько же наше восприятие. Другими словами, если в материальном мире существуют точки, где полученные колебания не передаются механически, если существуют, как было сказано, зоны непредопределенности, эти зоны должны встречаться именно на пути того, что называют сенсорно-моторным процессом; в таком случае все должно произойти так, как будто лучи Pa, Pb, Pc были *восприняты* вдоль этого пути и проецированы затем в P. Более того, если эта непредопределенность ускользает от опыта и вычисления, нельзя того же сказать про нервные элементы, которыми впечатление получается и передается. Физиологи и психологи должны, значит, заняться этими элементами; по ним установятся и ими объяснятся все подробности внешнего восприятия. Можно будет, пожалуй, сказать, что раздражение, пройдя по пути этих элементов, достигнув центра, обращается там в сознательный образ, который затем выявляется в точке P. Но употреблять такие выражения значит просто подчиняться требованиям научного метода, а совсем не описывать реальный процесс. На самом деле нет непротяженного образа, который образовался бы в сознании и отбросился бы затем в P. В действительности же точка P, лучи ею испускаемые, сетчатка и нервные элементы образуют солидарное целое, световая точка P составляет часть этого целого, и именно в P, а не в каком другом месте, образуется и воспринимается образ P.

Представляя себе вещи в таком виде, мы только возвращаемся к наивному убеждению здравого смысла. Мы все начали с веры, что мы проникаем в самый предмет, что мы воспринимаем его в нем, а не в себе. Если психолог пренебрегает столь простой, столь близкой к реальному мыслью, то потому, что внутри-

мозговой процесс, эта минимальная часть восприятия, кажется ему эквивалентом всего восприятия. Уничтожьте воспринимаемый предмет, сохранив этот внутренний процесс, ему покажется, что образ предмета остался. Это легко объясняется: есть много состояний, каковы галлюцинация и сновидение, при которых возникают образы, во всем сходные с внешним восприятием. Так как в этом случае предмет исчез, а мозг остался, то заключают, что мозгового процесса достаточно для образования образа. Но не надобно забывать, что во всех психологических состояниях этого рода первую роль играет память. Дальше мы постараемся показать, что, если принять восприятие как мы его понимаем, то память *должна* возникнуть, и что не в состоянии мозга заключается реальное и полное условие памяти, как и самого восприятия. Не приступая пока к рассмотрению этих двух пунктов, ограничимся приведением очень простого наблюдения, к тому же не нового. У многих слепорожденных зрительные центры целы: между тем они живут и умирают никогда не образовав зрительного образа. Такой образ может появиться только, если внешний предмет хоть однажды сыграл свою роль: следственно, он должен, по крайней мере один раз, действительно войти в представление. В настоящее время нам не надобно ничего другого, потому что нас занимает здесь только чистое восприятие, а не восприятие осложненное памятью. Откиньте же вклад памяти, возьмите восприятие как бы в сыром виде, и вам придется признать, что без предмета нет образа. Но как только вы присоединяете к внутримозговым процессам внешний предмет, их причиняющий, мне ясно, что образ этого предмета дан с ним и в нем, но мне совсем не ясно, как может он возникнуть из мозговых процессов.

Когда повреждение нервов или центров прерывает путь нервного импульса, восприятие соответствен-

но уменьшается. Надо ли этому удивляться? Роль нервной системы в том, чтоб использовать этот импульс, чтобы обратить его в практические поступки, реально или виртуально выполненные. Если раздражение более не проходит по той или другой причине, было бы странно, если б соответственное восприятие все же происходило, ибо восприятие это привело бы тогда наше тело в сообщение с точками пространства, которые более не призывают его к выбору. Пережьте зрительный нерв у животного; колебание исходящее из световой точки не передается более мозгу и оттуда двигательным нервам; нить, связывавшая внешний предмет с двигательными механизмами животного, включая зрительный нерв, порвана: зрительное восприятие стало бессильным и в этом бессилии именно и состоит бессознательность. Что материя может быть воспринята без помощи нервной системы, без органов чувств, это теоретически мыслимо; но это невозможно практически, потому что подобное восприятие ни для чего не нужно. Оно было бы свойственно призраку, а не существу живому, то есть действующему. Живое тело представляют себе как царство в царстве, нервную систему как особое существо, функция которого состоит в выработке восприятия и затем в создании движений. На самом же деле, моя нервная система, поставленная между предметами, приводящими в колебание мое тело, и теми, на которые я могу влиять, играет роль простого проводника: оно передает, распределяет и задерживает движение. Это проводник из огромного множества нитей, натянутых от периферии к центру и от центра к периферии. Сколько нитей идет от периферии к центру, столько же точек в пространстве способных возбуждать мою волю и, так сказать, ставить элементарный вопрос моей двигательной деятельности: каждый поставленный вопрос и есть именно то, что называется восприятием. Восприятие лишается од-

ного из своих элементов всякий раз, как перерезана одна из так называемых чувствительных нитей, потому что в таком случае какая-нибудь часть внешнего предмета становится бессильной призывать деятельность, а также и всякий раз, как приобретена стойкая привычка, потому что в этом случае готовый ответ делает вопрос бесполезным. И в том и в другом случае исчезает кажущееся отражение колебания назад, возвращение света к образу, от которого он исходит, или, скорее, то расчленение и то *различение*, которое извлекает восприятие из образа. Можно, стало быть, сказать, что особенности восприятия точно соответствуют особенностям нервов называемых чувствительными, но что настоящий смысл восприятия, в целом, заключается в стремлении тела двигаться.

В этом вопросе иллюзия возникает обыкновенно от кажущейся незаинтересованности наших движений к вызывающему их возбуждению. Кажется, будто движение моего тела для достижения или изменения какого-нибудь предмета будет одинаково, указано ли мне существование этого предмета слухом, зрением или осязанием. Моя двигательная деятельность становится тогда отдельной сущностью, родом резервуара, из которого движение выходит по желанию, всегда одинаковое для одного и того же действия, каков бы ни был род образа, побуждающего к действию. Но на самом деле характер движений, тождественный с внешней стороны, изменяется внутренне, смотря по тому, отвечают ли они на зрительное, на осязательное или на слуховое впечатление. Я вижу в пространстве множество предметов; каждый из них, как зримая форма, вызывает мою деятельность. Я внезапно теряю зрение. Несомненно, я располагаю тем же количеством и тем же качеством движений в пространстве, но движения эти не могут уже быть координированы со зрительными впечатлениями; они принуждены будут отныне следовать, например,

за осязательными впечатлениями, и в мозгу, без сомнения, начертается новое расположение; протоплазматические отростки двигательных нервных элементов в корковом слое будут находиться теперь в соотношении с гораздо меньшим числом тех нервных элементов, называемых сенсорияльными. Деятельность моя, следовательно, в действительности уменьшена в том смысле, что если я и могу производить те же движения, то предметы дают мне к этому менее поводов. И следовательно, основным и глубоким последствием внезапного пресечения оптической проводимости является уничтожение части призывов к моей деятельности: между тем этот призыв, как мы видели, и есть само восприятие. Здесь мы вплотную подходим к ошибке тех, которые считают, что восприятие зарождается из самого сенсорияльного импульса, а не из вопроса, обращенного к нашей двигательной активности. Они отделяют эту двигательную активность от процесса восприятия, и так как кажется, что она переживает уничтожение восприятия, они заключают, что восприятие локализовано в так называемых сенсорияльных нервных элементах. Но на самом деле оно ни в сенсорияльных центрах, ни в двигательных центрах; она соответствует многообразию их отношений и существует там, где появляется.

Психологи, изучавшие детский возраст, знают, что представление наше вначале безлично. Только мало-помалу благодаря индукции оно принимает наше тело за центр и становится *нашим* представлением. Механизм этого процесса понять легко. По мере того как тело мое передвигается в пространстве, все другие образы изменяются; образ моего тела, наоборот, остается неизменным. Мне приходится, стало быть, сделать его центром, к которому я отнесу все другие образы. Моя вера во внешний мир не происходит и не может происходить из того, что я проеци-

рую вне себя непротяженные ощущения: как могут эти ощущения приобрести протяженность, и откуда могу я получить понятие о внешнем? Но если принять, как свидетельствует опыт, что совокупность образов дана вначале, то я отлично понимаю, как мое тело в конце концов займет в этой совокупности привилегированное положение. Я понимаю также, как зарождается понятие о внутреннем и о внешнем, которое сперва есть только различие моего тела от остальных тел. В самом деле, возьмите мое тело за исходную точку, что обыкновенно и делают; вы никогда не сможете заставить меня понять, как впечатления, полученные на поверхности моего тела и касающиеся только этого тела, становятся для меня независимыми предметами и образуют внешний мир. Наоборот, дайте мне образы вообще — и тело мое непременно выделится среди них как нечто особое, потому что образы непрестанно изменяются, а оно остается неизменным. Так различие внутреннего и внешнего сведется к различению части от целого. Прежде всего имеется совокупность образов; в этой совокупности есть «центры действия», от которых как бы отражаются интересующие нас образы; так рождаются восприятия и подготовляются действия. *Мое тело* есть то, что вырисовывается в центре этих восприятий; *моя личность* — существо, к которому надо относить эти действия. Все становится ясно, если идти таким путем от периферии представления к центру, как делает ребенок, как нам указывает непосредственный опыт и здравый смысл. Наоборот, все затемняется и проблемы умножаются, если мы последуем за теоретиками от центра к периферии. Откуда возникает тогда идея о внешнем мире, искусственно построенном часть за частью при помощи непротяженных ощущений? Как они могут образовать протяженную поверхность? Как могут они затем проецироваться из нашего тела наружу? Зачем жела-

ют, чтоб я шел, против всех видимостей, от моего сознательного Я к моему телу, затем от моего тела к другим телам, тогда как я сразу становлюсь в материальный мир вообще, чтобы потом постепенно отграничить этот центр действия, который назовется моим телом, и различить его таким путем от всех других тел? В этом веровании в первоначальную непротяженность нашего внешнего восприятия соединено столько иллюзий, в мысли, что мы проецируем вне нас чисто внутренние состояния, столько недоумений, столько ошибочных ответов на дурно поставленные вопросы, что мы не надеемся сразу пролить на все это свет. Мы полагаем, что он прольется мало-помалу по мере того, как мы яснее покажем за этими иллюзиями метафизическое смешение нераздельного протяжения и однородного пространства, психологическое смешение «чистого восприятия» и памяти. Но, кроме того, все это имеет соотношение с реальными фактами, на которые мы можем указать сейчас же, чтобы внести поправку в их объяснение.

Первым из этих фактов будет необходимость воспитания наших чувств. Ни зрение, ни осязание не могут сразу локализовать свои впечатления. Необходим целый ряд сближений и индукций, при помощи которых мы мало-помалу координируем наши впечатления между собою. Отсюда перескакивают к идее об ощущениях непротяженных по существу, которые, прилагаясь одно к другому, образуют протяжение. Но кто не видит, что и в гипотезе, на которую мы стали, наши чувства все же нуждаются в воспитании, не для того, конечно, чтобы согласоваться с вещами, а для того, чтобы согласоваться между собою? Среди всех образов вот образ, который я называю своим телом; виртуальное действие его выражается в кажущемся отражении от него окружающих образов обратно на самих себя. Сколько возможных

действий имеется для моего тела, столько же различных систем отражения для других тел, и каждая из этих систем будет соответствовать одному из моих чувств. Мое тело является, стало быть, как бы образом, отражающим другие образы и анализирующих их с точки зрения различных воздействий на них. И вследствие этого каждое из качеств, воспринятых разными моими чувствами в одном и том же предмете, символизирует некоторое направление моей деятельности, некоторую потребность. Соединение всех этих восприятий тела разными органами чувств, даст ли оно полный образ этого тела? Без сомнения, нет, потому что они взяты из совокупности. Воспринимать все влияния, со всех точек всех тел, значило бы снизойти до состояния материального предмета. Воспринимать сознательно значит выбирать, и сознание состоит прежде всего в этом практическом различении. Различные восприятия одного и того же предмета, даваемые различными органами чувств, не восстаноят, следовательно, полного образа предмета; они будут отделены промежутками, соответствующими как бы пробелам в моих потребностях: воспитание чувств необходимо именно для заполнения этих промежутков. Это воспитание имеет целью гармонизировать мои чувства, восстановить между их данными непрерывность, которая была нарушена именно прерывностью потребностей моего тела, наконец, восстановить материальный предмет приблизительно в его целом. Так объяснится, при нашей гипотезе, необходимость воспитания чувств. Сравним это объяснение с предыдущим. В первом объяснении непротяженные ощущения зрения соединятся с непротяженными ощущениями осязания и других чувств и синтезом своим дадут идею материального предмета. Но прежде всего непонятно, как эти ощущения приобретут протяженность, и — раз протяженность в принципе будет при-

обретена — станет особенно непонятным фактическое предпочтение того или иного из этих ощущений какой-нибудь точке пространства. Кроме того, можно спросить себя, каким счастливым сочетанием, в силу какой предустановленной гармонии эти ощущения различных родов будут координироваться между собою, чтобы образовать стойкий отвердевший предмет, согласный с моим опытом и опытом всех людей, подчиненный в отношении других предметов тем непреклонным правилам, которые называются законами природы. Во втором объяснении, наоборот, «данные наших различных органов чувств» являются качествами вещей, воспринятых сначала скорее в них, чем в нас: удивительно ли, что они воссоединяются, раз их разъединила одна только абстракция? В первой гипотезе материальный предмет не соответствует ничему из того, что мы видим: с одной стороны поставят сознательное начало с чувственными качествами, с другой стороны — материю, о которой ничего нельзя сказать и которую определяют отрицаниями, ибо у нее сначала отняли все, чем она себя обнаруживает. При второй гипотезе возможно все более и более углубленное знание материи. Нам не только не приходится отбрасывать что-либо подмеченное, но, наоборот, мы должны сближать все чувственные качества, находить в них сродство, восстанавливать их непрерывность, нарушенную нашими потребностями. Наше восприятие материи тогда уже не относительно и не субъективно, по крайней мере в принципе и оставляя в стороне, как мы увидим дальше, чувства и особенно память; оно просто расчленено многообразностью наших потребностей. В первой гипотезе, дух так же непознаваем, как и материя, так как ему приписывается неопределимая способность вызывать ощущения (неизвестно откуда) и проецировать их (неизвестно зачем) в пространство, где они образуют тела.

Во второй гипотезе, роль сознания определена ясно: сознание означает возможное действие; и формы, приобретенные духом, те, которые заслоняют для нас его сущность, должны быть устранены при свете этого второго принципа. Таким образом, при нашей гипотезе рисуется возможность яснее различить дух и материю и затем сблизить их. Но оставим в стороне этот первый пункт и перейдем ко второму.

Второй факт, на который ссылаются, это то, что долго называлось «специфической энергией нервов». Известно, что раздражение оптического нерва внешним ударом или электрическим током даст зрительное ощущение, что тот же электрический ток, проходя через акустический нерв или язычно-глочный, произведет вкусовое ощущение или заставит услышать звук. Из этих весьма частных фактов переходят к двум весьма общим законам, что различные причины, действуя на один и тот же нерв, производят одинаковые ощущения, что одна и та же причина, действуя на различные нервы, вызывает различные ощущения. А из этих законов заключают, что ощущения наши просто сигналы, что роль каждого из органов чувств состоит лишь в том, чтобы переводить на свой собственный язык однородные и механические движения, совершающиеся в пространстве. Отсюда, наконец, идея расчленить наше восприятие на две части, уже неспособные к воссоединению: с одной стороны — однородные движения в пространстве, с другой — непротяженные ощущения в сознании. Нам не надо входить в разбор физиологических проблем, поднимаемых объяснением этих двух законов: как бы эти законы ни понимались, будут ли приписывать специфическую энергию нервам, будут ли относить ее к центрам, всегда натолкнутся на непреодолимые трудности.

Но самые эти законы становятся все более и более проблематичными. Уже Лотце подозревал, что они неверны. Для признания их он желал, «чтобы звуковые

волны дали глазу ощущение света, или чтобы световые колебания заставили ухо услышать звук\*». Верно то, что все приводимые факты, по-видимому, сводятся к одному типу: единственный возбудитель, способный производить различные ощущения, многочисленные возбудители, способные породить одно и то же ощущение, суть или электрический ток, или механическая причина, могущая вызвать в органе изменение электрического равновесия. Тогда можно спросить, не содержит ли электрическое возбуждение различные *составные* элементы, отвечающие объективно разного рода ощущениям и не сводится ли роль каждого чувства к простому извлечению из целого одной составной части, его интересующей: тогда именно одни и те же возбуждения давали бы одинаковые ощущения, и различные возбуждения давали бы разные. Точнее говоря, трудно предположить, чтобы электризация языка, например, не вызывала химических изменений, а ведь эти изменения мы и называем вкусовыми ощущениями. С другой стороны, если физик мог отождествить свет с электромагнитной пертурбацией, можно наоборот сказать, что то, что он называет электромагнитной пертурбацией и есть свет, так что зрительный нерв действительно объективно воспринимает свет при электризации. Ни для одного органа чувств доктрина специфической энергии не была, казалось, прочнее установлена, чем для слуха: и нигде реальное существование воспринимаемой вещи не сделалось более вероятным. Мы не будем настаивать на этих фактах, потому что изложение их и обстоятельное обсуждение желающие найдут в одном недавно появившемся труде\*\*. Ограничимся замечанием, что ощущения, о которых идет речь, не суть образы

---

\* Lotze. *Metaphysique*. стр. 526 и след.

\*\* Schwarz. *Das Wahrnehmungsproblem*. Leipzig, 1892, стр. 313 и след.

воспринятые нами вне нашего тела, но скорее чувства, локализованные в самом нашем теле. Между тем из природы и назначения нашего тела вытекает, как мы увидим, что всякий из его так называемых чувствительных элементов имеет свое собственное, реальное действие, которое должно быть того же рода, как его виртуальное действие на внешние предметы, им обычно воспринимаемые, таким образом стало бы понятно, почему всякий чувствительный нерв, по-видимому, вибрирует соответственно определенному виду ощущения. Но чтобы выяснить этот пункт, следует углубиться в сущность чувства. Этим самым мы приходим к третьему и последнему аргументу, который мы хотели разобрать.

Этот третий аргумент черпается из перехода незаметными ступенями от пространственных представлений к чувственному состоянию, кажущемуся непротяженным. Из этого заключают о естественной и необходимой непротяженности всякого ощущения; протяжение прибавляется к ощущению, и процесс восприятия состоит в экстерииоризации внутренних состояний. На самом деле психолог исходит из своего тела, и так как впечатления, получаемые на периферии этого тела, кажутся ему достаточными для восстановления всего материального мира, он сначала сводит вселенную к своему телу. Но это первое положение не защитимо; его тело не имеет и не может иметь ни большей, ни меньшей реальности, чем все остальные тела. Надо, стало быть, идти дальше, применить принцип до конца и, сжав вселенную до поверхности живого тела, сжать самое тело до единого центра, который надо, в конце концов, признать лишенным протяжения. Тогда от этого центра должны будут исходить непротяженные ощущения, которые, как бы взбухнут, вырастут и дадут сперва наше протяженное тело, потом все остальные материальные предметы. Но это странное предположение было бы невозможно, если бы между

протяженными образами и непротяженными идеями не существовало ряда промежуточных, более или менее смутно локализованных чувственных состояний. Наш разум, уступая привычной иллюзии, ставит дилемму: всякая вещь или протяженна, или непротяженна; и так как чувственное состояние смутно соприкасается с протяженностью, неясно локализовано, то он заключает, что состояние это абсолютно непротяженно. Но в таком случае последовательные степени протяженности, и сама протяженность, объясняются каким-то приобретенным свойством непротяженных состояний; история восприятия станет историей внутренних и непротяженных состояний, которые приобретают протяженность и проецируются наружу. Выражаясь иначе, можно сказать, что нет такого восприятия, которое не могло бы усилением действий своего объекта на наше тело стать чувством и в частности болью. Таким образом незаметно переходят от прикосновения булавки к уколу. Наоборот, уменьшающаяся боль мало-помалу совпадает с восприятием ее причины и, так сказать, экстериоризируется в представление. Из этого, по-видимому, ясно, что между чувством и восприятием различие лишь в степени, а не по существу. Между тем первое тесно связано с моим личным существованием: в самом деле, что станется с болью отделенной от субъекта, ее испытывающего? Кажется так же должно обстоять дело и со второй: внешнее восприятие должно получаться чрез проецирование чувства, ставшего безвредным, в пространство. И реалисты, и идеалисты согласны в этом. Идеалисты не видят ничего в материальной вселенной, кроме синтеза субъективных и непротяженных состояний; реалисты прибавляют, что за этим синтезом стоит независимая реальность, которая ему соответствует; но и те и другие, исходя из постепенного перехода от чувства к представлению, заключают, что представление о материальной вселенной относительно, субъективно

и что оно, так сказать, вышло из нас, а не мы себя сначала выделили из него.

Прежде чем приступить к критике этого сомнительного толкования точного факта, покажем, что оно не только не объясняет, но даже совсем не уясняет ни природы боли, ни природы восприятия. Что чувственные состояния, существенно связанные с личностью, исчезающие, если я исчезаю, могут приобрести протяженность, занять определенное место в пространстве, стать стойким фактом опыта, всегда в согласии с самим собою и с опытом других людей, просто вследствие уменьшения своей интенсивности, — это нам трудно понять. Как ни как придется, в той или другой форме, признать за ощущениями сперва протяженность, затем независимость, без которых желали обойтись. Но, с другой стороны, и чувство при этой гипотезе не яснее, чем представление. Если непонятно, почему чувства, уменьшаясь в интенсивности, становятся представлениями, то не более понятно, почему то же явление, данное сперва как восприятие, делается чувством от усиления интенсивности. В боли есть нечто положительное и активное, чего не объяснишь, сказав с некоторыми философами, что она состоит из смутного представления. Но не в этом главная трудность. Что постепенное усиление возбудителя превращается наконец в восприятие боли, это неоспоримо; верно, тем не менее, что превращение это выступает, начиная с определенного момента: почему именно с этого момента, а не с другого; и какова особая причина того, что явление, которого я сперва был простым зрителем, вдруг приобретает для меня жизненный интерес? Стало быть, при этой гипотезе, непонятно ни то, почему в определенный момент ослабление интенсивности явления дает ему право на протяженность и на кажущуюся независимость, ни почему усиление интенсивности создает в известный

момент новое свойство, источник положительного действия, называемого болью.

Вернемся теперь к нашей гипотезе и покажем, как в определенный момент чувство *должно* выступить из образа. Мы поймем так же, как совершается переход от восприятия, имеющего протяжение, к чувству, которое считается непротяженным. Но предварительно надобно сделать несколько замечаний о реальном значении боли.

Когда постороннее тело прикасается к одному из отростков амебы, этот отросток сокращается; стало быть, всякая часть протоплазматической массы одинаково способна получать возбуждение и реагировать на него; здесь восприятие и движение сливаются в одно свойство, в сократимость. Но по мере того как организм усложняется, работа разделяется, функции дифференцируются, и анатомические органы лишаются своей независимости. В организме, подобном нашему, так называемые чувствительные волокна назначены исключительно для передачи возбуждений к центральной области, откуда импульс передается двигательным элементам. По-видимому, волокна эти отказались от индивидуальной функции, чтобы принять участие, в качестве передовых сторожей, в действиях всего тела. Тем не менее они и в отдельности подвержены тем же разрушительным влияниям, которые грозят организму в его целом. Организм этот обладает способностью передвигаться для избежания опасности или для восполнения потерь, тогда как чувствительные элементы сохраняют относительную неподвижность, на которую обречены разделением труда. Так рождается боль, которая, по нашему мнению, есть не что иное, как усилие поврежденного элемента восстановить прежний порядок вещей, это — род двигательной тенденции в чувствительном нерве. Всякая боль, следовательно, должна сводиться к усилию, и к усилию бессильному. Всякая

боль есть *местное* усилие, и такая изоляция усилия и есть причина его бессилия, потому что организм, в силу солидарности своих частей, способен уже только к обобщенным действиям. Вследствие того также, что это усилие местное, боль совершенно не пропорциональна опасности, грозящей живому организму: опасность может быть смертельная, а боль слабая; боль может быть невыносима (как зубная боль), а опасность незначительна. Следовательно, есть, должен быть определенный момент, когда боль наступает: когда затронутая часть организма вместо того, чтобы принимать возбуждение, его отталкивает. Таким образом, различие между восприятием и чувством не только в степени, они различны по существу.

Мы рассматривали живое тело как род центра, от которого отражается на окружающие предметы действие, оказываемое этими предметами на него: в этом отражении состоит внешнее восприятие. Но центр этот не математическая точка: это тело, подверженное, как все тела в природе, действию внешних причин, грозящих ему разрушением. Мы видели, что оно сопротивляется влиянию этих причин. Оно не ограничивается отражением внешнего действия, оно борется и таким образом поглощает нечто из этого действия. В этом источник чувства. Можно было бы сказать, пользуясь метафорой, что, если восприятие соответствует отражательной способности тела, чувства соответствуют его способности поглощения.

Но это только метафора. Надобно расследовать вещи ближе, ясно понять, что необходимость чувства вытекает из существования самого восприятия. Восприятие, как мы его понимаем, показывает наше возможное действие на вещи и тем самым также и возможное действие вещей на нас. Чем шире способность тела к действию (она символизируется усложнением нервной

системы), тем обширнее поле, охватываемое восприятием. Расстояние, отделяющее наше тело от воспринимаемого предмета, стало быть, действительно показывает большее или меньшее приближение опасности, большую или меньшую близость выполнения обещания. Вследствие этого наше восприятие предмета, отличного от нашего тела, отделенного от него промежутком, никогда не выражает ничего, кроме виртуального действия. Но чем меньше становится расстояние между этим предметом и нашим телом, другими словами, чем опасность становится грознее или обещание непосредственнее, тем более виртуальное действие стремится превратиться в действие реальное. Дойдите теперь до последнего предела, предположите, что расстояния уже нет, то есть, что воспринимаемый предмет совпадает с нашим телом, другими словами, что наше собственное тело становится предметом восприятия. Тогда это совершенно специальное восприятие выразит уже не виртуальное, а реальное действие: именно в этом и состоит чувство. Наши чувства, следовательно, относятся к нашим восприятиям, как реальное действие нашего тела к его возможному или виртуальному действию. Его виртуальное действие касается других предметов и вырисовывается в этих предметах; его реальное действие касается его самого и вследствие этого вырисовывается в нем самом. Наконец, все произойдет так, как будто от действительного возврата реальных или виртуальных действий к точкам их приложения или исхода внешние образы оказались отраженными нашим телом в окружающее его пространство, а реальные действия задержаны им внутри его вещества. А поэтому его поверхность, общая граница внешнего и внутреннего, есть единственная часть протяжения, которая одновременно и воспринимается и чувствуется.

А это значит, что восприятие находится вне моего

тела, а мое чувство находится, наоборот, в моем теле. Внешние предметы воспринимаются мною там, где они находятся, в них самих, а не во мне, точно так же мои чувственные состояния испытываются там, где они возникают, т. е. в определенной точке моего тела. Рассмотрите систему образов, которая называется материальным миром: мое тело один из них. Вокруг этого образа располагаются представления, т. е. возможное влияние этого образа на другие образы. В нем происходит чувство, т. е. его действительное усилие над самим собою. Такова в сущности разница, которую каждый из нас естественно непосредственно устанавливает между образом и ощущением. Когда мы говорим, что образ существует вне нас, мы подразумеваем, что он внешний относительно нашего тела. Когда мы говорим об ощущении как о внутреннем состоянии, мы хотим этим сказать, что оно возникает в нашем теле. Вот почему мы утверждаем, что совокупность воспринятых образов остается, даже если наше тело исчезнет, между тем как мы не можем уничтожить наше тело, не уничтожая наших ощущений.

Из этого мы усматриваем необходимость первой поправки к нашей теории чистого восприятия. Мы рассуждали так, как будто наше восприятие есть часть образов, отделенная, как таковая, от их субстанции, как будто, выражая виртуальное действие предмета на наше тело и нашего тела на предмет, оно ограничивается отделением интересующего нас аспекта предмета от предмета в его целом. Но надобно принимать во внимание, что тело наше не математическая точка в пространстве, что его виртуальные действия осложняются и пропитываются реальными действиями или, другими словами, что нет восприятия без чувства. Чувство, стало быть, есть то, что мы приписываем изнутри нашего тела к образу внешних тел; это есть то, что надлежит прежде всего выключить из

восприятия, чтобы восстановить образ в чистом виде. Но психолог, закрывающий глаза на основное различие, на различие функций восприятия и чувства (последнее охватывает реальное действие, первая — действие просто возможное) находит между ними разницу только в степени. На основании того, что чувство неясно локализовано (вследствие скрытого в нем неопределенного усилия), он объявляет его непротяженным и считает ощущение вообще простым элементом, из которого путем сложения мы получаем внешние образы. Но дело в том, что чувство не есть первичный материал, из которого составляется восприятие, оно скорее примесь к восприятию.

Здесь мы замечаем корень ошибки, которая заставляет психолога рассматривать ощущение как не имеющее протяжения, а восприятие как агрегат ощущений. Эта ошибка постепенно усиливается, как мы увидим, доводами, почерпнутыми из ложной концепции о роли пространства и о природе протяжения. Но кроме того, она имеет за собою неверно истолкованные факты, которые надлежит теперь рассмотреть.

Прежде всего, локализация чувственного ощущения в определенной части тела требует, по-видимому, настоящего воспитания. Проходит некоторое время, прежде чем ребенок научается тронуть пальцем ту самую точку кожи, где его укололи. Факт этот не подлежит сомнению, но из него можно только заключить, что необходимо приноровиться к координации болевых впечатлений уколотою кожи с впечатлениями мышечного чувства, управляющего движениями руки. Наши внутренние чувства подобно нашим внешним восприятиям, подразделяются на различные группы. Эти группы, как и группы восприятий, отделены промежутками, воспитание заполняет эти промежутки. Из этого ничуть не следует, чтоб не было для каждого рода чувств известной непо-

средственной локализации — особенности присущей ему. Пойдем дальше: если чувство сразу не имеет этой особенности, оно не получит ее никогда. Воспитание может только присоединить к наличному чувственному ощущению идею о возможном восприятии зрением или осязанием, так что определенное чувство будет вызывать образ восприятия зрительного или осязательного, тоже определенного. Надобно, стало быть, чтобы в самом этом чувстве было нечто, что отличило бы его от чувств того же рода, что позволило бы отнести его скорее к известному возможному свидетельству зрения или осязания, чем ко всякому другому. Но не сказано ли этим, что чувство с самого начала обладает некоторой протяженной определенностью?

Ссылаются также на ошибочные локализации, иллюзии ампутированных (их следовало бы подвергнуть новому исследованию). Но из этого нельзя вывести другого заключения, кроме того, что раз полученное воспитание сохраняется и что данные памяти, более полезные в практической жизни, вытесняют данные непосредственного сознания. В целях действия нам необходимо переводить наш опыт чувства на возможные данные зрения, осязания и мышечного чувства. Раз этот перевод сделан, оригинал бледнеет, но перевод не был бы возможен без заранее данного оригинала, и если бы чувственное ощущение с самого начала не локализовалось собственной своей силой и на свой лад.

Психологу очень трудно принять эту идею здравого смысла. Ему кажется, что восприятие могло бы находиться в воспринимаемых вещах только в том случае, если бы сами вещи воспринимали, и точно так же ощущение могло бы быть в нерве, если бы нерв чувствовал: между тем нерв, очевидно, не чувствует. Тогда ощущение берут в точке, где его локализирует здравый смысл, извлекают оттуда, приближают к мозгу,

от которого оно кажется зависит еще более, чем от нерва; в конце концов его поместят в мозг. Но скоро замечают, что, если оно не находится в той точке, в которой, по-видимому, происходит, оно не может находиться и в другом месте; если его нет в нерве, оно не будет и в мозгу; ибо для того чтобы объяснить его проекцию от центра к периферии, необходима некоторая сила, которую надо приписать более или менее активному сознанию. Приходится идти дальше, заставить все ощущения сойтись в мозговом центре, потом вытолкнуть их и из мозга и из пространства одновременно. Придется представить себе ощущения, совершенно лишённые протяженности, а с другой стороны, пустое пространство, безразличное к ощущениям, которые будут в него проецироваться, потом употребить всевозможные усилия, чтобы объяснить, как эти непротяженные ощущения обретают протяженность и выбирают для своей локализации те или иные точки пространства. Но доктрина эта не только неспособна ясно показать, каким образом непротяженное приобретает протяженность; при ней так же необъяснимы и чувство, и протяженность, и представление. При ней чувственные состояния должны быть даны как абсолюты, из которых они неизвестно почему появляются и исчезают в сознании, в тот или иной момент. Переход от чувства к представлению остается тоже непроницаемой тайной, ибо, повторяем, во внутренних, простых и непротяженных состояниях нельзя найти причины, по которой они должны принять тот или иной, определенный порядок в пространстве. Наконец и самое представление надо будет принять как абсолют: не понятно ни его происхождение, ни его значение.

Наоборот, все уясняется, если исходить из самого представления, то есть из совокупности воспринятых образов. Мое восприятие, в чистом состоянии, отделенное от памяти, не идет от моего тела к другим те-

лам: первоначально оно в совокупности тел, потом мало-помалу ограничивается и принимает тело мое за центр. Оно приводится к этому опытом, обнаруживающим двойную способность этого тела совершать действия и испытывать чувства, одним словом, опытом сенсорно-моторной способности, привилегированного образа среди всех. В самом деле, с одной стороны, этот образ всегда занимает центр представления, так что другие образы расставляются вокруг него именно в том порядке, в котором они могут подвергаться его действию; с другой стороны, при посредстве чувств я в нем воспринимаю внутреннее, нутро, а не только одну поверхностную оболочку, как в других образах. В совокупности образов существует, стало быть, исключительный образ, воспринимаемый в его глубинах, а не только с поверхности,местилище чувства и в то же время источник действия: этот особенный образ я принимаю за центр моей вселенной и за физическую основу моей личности.

Прежде чем идти дальше и установить точное соотношение между личностью и образами, среди которых она водворяется, мы сделаем краткое изложение намеченной нами теории «чистого восприятия», сопоставляя ее с анализами обычной психологии.

Для упрощения изложения, мы обратимся к чувству зрения, уже взятому нами как пример. Обыкновенно берут элементарные ощущения, соответствующие впечатлениям, получаемым конусами и палочками сетчатки. Помощью этих ощущений строят зрительное восприятие. Но прежде всего, сетчатка не одна — их две. Стало быть надо объяснить, как два ощущения, предполагающиеся отдельными, сливаются в единое восприятие, которое соответствует тому, что мы называем точкой в пространстве.

Предположим, что этот вопрос решен. Ощущения, о которых говорят, лишены протяжения. Как они получают протяженность? Смотреть ли на про-

тяжение, как на рамку, готовую для получения ощущений, или как на результат одновременности ощущений, сосуществующих в сознании, но не сливающихся между собой, в обоих случаях с протяжением вводится нечто новое, в чем не отдают себе отчета; а процесс, которым ощущение получает протяжение и выбор каждым элементарным ощущением определенной точки пространства, остается все же необъясненным.

Оставим это затруднение в стороне и сочтем зрительное протяжение установленным. Как оно в свою очередь совпадает с осязательным протяжением? Все, о чем зрение мое свидетельствует в пространстве, подтверждается моим осязанием. Скажут ли, что предметы образуются именно кооперацией зрения и осязания и что совпадение этих двух чувств в восприятии объясняется тем фактом, что воспринятый предмет есть их общий результат? Но в этом случае трудно принять существование чего бы то ни было общего, с точки зрения качества, между элементарным зрительным ощущением и осязательным ощущением, ибо они совершенно различны. Соответствие между зрительным протяжением и осязательным протяжением можно объяснить только параллелизмом между порядком ощущений зрительных и порядком ощущений осязательных. Мы вынуждены, стало быть, предположить, кроме зрительных ощущений, кроме осязательных ощущений, какой-то общий им порядок, который должен, следовательно, быть независим и от тех и от других. Пойдем дальше: этот порядок независим от нашего индивидуального восприятия, так как он представляется одинаковым всем людям и составляет материальный мир, где следствия связаны с причинами, где явления подчиняются законам. И мы приходим наконец к гипотезе объективного и независимого от нас порядка, то есть материального мира, отличного от ощущения.

По мере того как мы шли вперед, мы умножили число неразрешимых данных и усложнили довольно простую гипотезу, из которой исходили. Но выиграли ли мы что-нибудь? Если материя, к которой мы приходим, необходима для понимания удивительного согласования ощущений между собою, то о ней мы ничего не знаем, потому что мы должны ей отказать во всех подмеченных качествах, во всех ощущениях, предоставив ей простое объяснение их соответствия. Она, стало быть, не может быть ничем из того, что мы знаем, и ничем из того, что мы воображаем. Она остается загадкой.

Но наша собственная природа, роль и назначение нашей личности также остаются покрыты тайной. Ибо откуда исходят, как рождаются, чему должны служить эти элементарные непротяженные ощущения, которые разовьются в пространстве? Их надо принять как абсолюты, ни происхождения, ни цели которых мы не видим. А если б требовалось различить в каждом из нас дух и тело, ничего нельзя было бы узнать ни о теле, ни о духе, ни об их соотношении.

В чем же состоит наша гипотеза и в какой именно точке она отделяется от вышеизложенной? Вместо того чтоб исходить из *чувства*, о котором ничего нельзя сказать, так как для него нет никакого основания быть тем или иным, мы исходим из *действия*, то есть из присущей нам способности производить изменения в вещах, способности, о которой свидетельствует сознание и к которой, по-видимому, сходятся, как к центру, все силы организованного тела. Мы становимся, стало быть, сразу в совокупность протяженных образов, и в этой материальной вселенной мы замечаем именно эти центры непределенности, характеризующие жизнь. Чтобы действия могли излучаться из этих центров, надобно, чтоб движения или влияния других образов бы-

ли, с одной стороны, получены, а с другой, использованы. Живая материя, в своей простейшей форме и в однородном состоянии, уже выполняет эту функцию, питаясь и восстанавливаясь. Совершенствование этой материи состоит в распределении такой двойной работы между двумя категориями органов, из которых первые, органы питания, предназначены для поддержания вторых: последние созданы для того, чтобы *действовать*; их простейший тип есть цель нервных элементов, один конец получает внешние впечатления, а другой совершает движения. Так, возвращаясь к примеру зрительного восприятия, роль конусов и палочек сетчатки состоит просто в получении импульсов, которые затем перерабатываются в движения, осуществленные или зарождающиеся. Из этого не может получиться никакого восприятия и в нервной системе нигде нет сознательных центров; но восприятие происходит от той же причины, которая породила цель нервных элементов с органами ее поддерживающими и с жизнью вообще: она выражает и измеряет силу действия живого существа, непредопределенность движения или действия, которое последует за полученным импульсом. Эта непредопределенность, как мы показали, выразится в отражении на самих себя образов, окружающих наше тело, или, лучше, в разделении их; а так как цепь нервных элементов, получающих, останавливающих и передающих движения, есть именно местонахождение этой непредопределенности и выражает ее, то наше восприятие будет соответствовать всем подробностям и, по-видимому, будет выражать все изменения самих нервных элементов. В таком случае наше восприятие в чистом виде действительно входит в состав вещей. Ощущение же, в тесном смысле, не только не исходит самопроизвольно из глубин сознания, чтоб ослабляясь перейти в пространство, но совпадает с неизбежны-

ми изменениями того особого образа, который каждый из нас зовет своим телом.

Такова упрощенная, схематическая теория внешнего восприятия. Это теория *чистого восприятия*. Если принять ее за окончательную теорию, роль нашего сознания в восприятии ограничивалась бы связыванием непрерывной нитью памяти бесконечного ряда мгновенных видений, которые скорее принадлежат к вещам, чем к нам самим. Что сознание наше исполняет главным образом эту роль во внешнем восприятии, можно к тому же вывести *a priori* из самого определения живых тел. Если тела эти предназначены получать импульсы для переработки их в непредвиденные реакции, то ведь выбор реакции не должен совершаться случайно. Этот выбор обуславливается, без всякого сомнения, прошлым опытом, и реакция не совершается без обращения к воспоминаниям, оставшимся от прежних аналогичных положений. Непредопределенность действий, которые надо совершить, требует, стало быть, сохранения воспринятых образов для того, чтобы не свестись к простой прихоти. Можно сказать, что мы имеем власть над будущим только при равном и соответственном взоре на прошлое, что напор нашей деятельности вперед оставляет позади себя пустоту, куда врываются воспоминания, и что память в сфере познания есть отражение непредопределенности нашей воли. Но действие памяти распространяется гораздо дальше и гораздо глубже, чем то можно предугадать после этого поверхностного анализа. Пора теперь ввести снова память в восприятие, исправить тем возможное преувеличение наших выводов, и определить, таким образом, с большей точностью точку соприкосновения между сознанием и вещами, между телом и духом.

Скажем прежде всего, что, если дана память, т. е. пережиток образов прошлого, образы эти будут посто-

янно примешиваться к нашему восприятию настоящего и могут даже заменить его. Образы эти сохраняются только для того, чтобы быть полезными; во всякое мгновение они дополняют опыт настоящего, обогащаясь приобретенным опытом; и так как этот последний не перестает увеличиваться, в конце концов он покрывает и затопляет первый. Несомненно, что основа интуиции действительной и, так сказать, моментальной, на которой разворачивается наше восприятие внешнего мира, есть нечто весьма малое по сравнению со всем, что к нему прибавляет память. Именно потому, что воспоминания предшествовавших аналогичных интуиций полезнее самой интуиции (оно связано в нашей памяти с целым рядом последующих событий и может этим помочь нашему решению), оно замещает действительную интуицию, на долю которой выпадает только — как мы докажем впоследствии — задача вызвать воспоминание, дать ему тело, сделать его активным, а тем самым и действительным. Мы были, стало быть, правы, говоря, что совпадение восприятия с воспринимаемым объектом существует скорее в принципе, чем на деле. Надобно принять во внимание, что восприятие становится в конце концов лишь поводом к воспоминанию, что практически мы измеряем степень реальности, степенью полезности, что нам во всех отношениях выгодно обратить в простые знаки реального эти непосредственные интуиции, которые совпадают, в сущности, с самой действительностью. Но здесь мы и открываем ошибку тех, которые видят в восприятии проекцию наружу непротяженных ощущений, вышедших из нашей собственной сущности и развившихся затем в пространстве. Им не трудно показать, что наше полное восприятие чревато образами лично нам принадлежащими, образами экстериоризованными (т. е. восставшими в памяти); они только забывают, что остается безличный фон, где восприятие

совпадает с воспринятым объектом и фон этот само внешнее.

Главная ошибка, которая, восходя от психологии к метафизике, наконец, заслоняет нам познание как тела, так и духа, состоит в том, что между чистым восприятием и воспоминанием видят только разницу в интенсивности, а не по существу. Наши восприятия, несомненно, пропитаны воспоминаниями и, наоборот, воспоминание, как мы покажем ниже, становится настоящим, только заимствуя тело какого-нибудь восприятия, в которое оно внедряется. Оба акта, восприятие и воспоминание, всегда взаимно проникаются и обмениваются, как при эндосмозе. Задача психолога разъединить их, привести каждый из них к его первоначальной чистоте: таким путем разъяснились бы многие трудности, поднимаемые психологией, а может быть, также и метафизикой. Но этого не делают. В этих смешанных состояниях, состоящих из неравных частей чистого восприятия и чистого воспоминания, непременно хотят видеть состояния простые. Этим обрекают себя на непонимание как чистого воспоминания, так и чистого восприятия, на признание только одного рода явления, которое будет называться то воспоминанием, то восприятием, смотря по тому, преобладает ли в нем тот или другой из этих двух аспектов, и вследствие этого между перцепцией и воспоминанием будут признавать только различие в степени, а не по существу. Первое последствие этого заблуждения — глубокое искажение теории памяти, как это будет видно дальше в подробностях: делая из воспоминания лишь более бледное восприятие, не замечают существенной разницы, отделяющей прошедшее от настоящего, отказываются понимать явления узнавания и, в более общем смысле, механизм бессознательного. И наоборот, сделав из воспоминания более слабое восприятие, в последнем не смогут уже видеть ничего иного, кро-

ме более интенсивного воспоминания. Рассуждать будут так, как если бы оно было дано нам, наподобие воспоминания, как внутреннее состояние, как простое изменение нашей личности. Не признают изначального, основного акта восприятия, акта составляющего чистое восприятие, каковым мы сразу переносимся в вещи. И то же заблуждение, которое в психологии выражается полным бессилием объяснить механизм памяти, наложит в метафизике глубокую печать на концепцию материи как идеалистов, так и реалистов.

В самом деле, для реализма неизменный порядок явлений природы основан на причине, отличной от самих наших восприятий, останется ли эта причина непознаваемой или станет доступной усилиям метафизического построения, всегда более или менее произвольного. Для идеалиста, наоборот, этими восприятиями исчерпывается вся реальность, а неизменный порядок явлений природы есть только символ, которым мы выражаем наряду с реальными восприятиями восприятия возможные. Но как для реализма, так и для идеализма восприятия суть «правдивые галлюцинации», состояния субъекта, проецированные наружу. Обе доктрины отличаются просто тем, что в одной эти состояния составляют реальность, а в другой они присоединяются к ней.

Но иллюзия эта прикрывает другую, которая распространяется на теорию познания вообще. Мы сказали, что материальный мир состоит из предметов, или, если угодно, из образов, в которых все части действуют и воздействуют одна на другую движениями. Наше чистое восприятие составляет внутри этих образов наше зарождающееся действие. *Актуальность* нашего восприятия состоит, стало быть, в ее активности, в движениях, которые ее продолжают, а не в большей ее *интенсивности*; прошедшее только идея, настоящее идеомоторно. Но этого-то упорно не

желают признавать, смотря на восприятие как на род созерцания, приписывая ему исключительно спекулятивную цель и желая оделить его стремлением к какому-то бескорыстному познанию: как будто отделяя его от действия, разрывая таким путем его связь с реальным, его не делают одновременно и необъяснимым и бесполезным! И тогда всякая разница между восприятием и воспоминанием уничтожается, потому что прошлое по существу *есть то, что уже не действует*, а не признавая этого признака прошлого становится невозможным отличить его от настоящего, т. е. от *действующего*. Стало быть, между восприятием и памятью будет только простая разница в степени, и как в той, так и в другой субъект останется замкнутым в себе. Восстановим, наоборот, истинный характер восприятия; покажем в нем систему нарождающихся действий, погруженную в реальное своими глубокими корнями: такое восприятие радикально отличается от воспоминания; реальность вещей не будет уже ни построена, ни перестроена, она будет нащупана, проникнута, пережита; спорный вопрос между реализмом и идеализмом перестанет быть предметом бесконечных метафизических прений и разрешится интуицией.

Но из этого нам станет также ясно, какое положение надлежит занять между идеализмом и реализмом, которые оба вынуждены рассматривать материю как построение или перестроение, совершаемое духом. В самом деле, следуя до конца поставленному нами принципу, согласно которому субъективность нашего восприятия обуславливается привхождением памяти, мы скажем, что чувственные качества материи были бы познаны *в них самих*, изнутри, а не извне, если бы мы могли отделить их от особого ритма длительности, характерного для нашего сознания. И действительно, наше чистое восприятие, как бы оно ни было быстро, имеет известную длительность, так что

наши последовательные восприятия никогда не суть реальные моменты вещей, — как мы предполагали до сих пор, — но моменты нашего сознания. Мы говорили, что теоретически роль сознания во внешнем восприятии состоит в том, чтобы непрерывной нитью памяти связывать мгновенные видения реального. Но на самом деле для нас мгновенное никогда не существует. В том, что мы называем этим именем, уже есть работа нашей памяти, а следовательно, и нашего сознания, которое сливается одно с другим, чтоб охватить их сравнительно простой интуицией, какое угодно число мгновений бесконечно делимого времени. В чем же разница между материей, как ее понимает самый требовательный реализм, и нашим восприятием ее? Наше восприятие дает нам ряд картин вселенной, живописных, но разобобщенных: из нашего настоящего восприятия мы не можем вывести позднейших восприятий, потому что в совокупности осязаемых качеств ничто не дает возможности предвидеть новые качества, в которые они переходят. Наоборот, материя, как она обыкновенно понимается реализмом, эволюирует так, что можно переходить от одного момента к следующему путем математической дедукции. Между такой материей и таким восприятием научный реализм не находит точки соприкосновения, потому что он разлагает эту материю на однородные изменения в пространстве, между тем как восприятие он замыкает в непротяженные ощущения в сознании. Но если наша гипотеза правильна, то вполне понятны как сходства, так и различия восприятия и материи. Качественная разнородность наших последовательных восприятий вселенной зависит от того, что каждое из этих восприятий имеет известную длительность и от того, что память сосредоточивает в ней огромное множество импульсов, которые все являются нам сразу, хотя они и последовательны. Чтоб перейти от восприятия к материи, от субъекта

к объекту, было бы достаточно мысленно разделить эту нераздельную толщу времени, различить в ней произвольное множество моментов — словом, совершенно устранить память. Тогда материя, становясь все более и более однородной по мере того, как наши протяженные ощущения распределялись бы на большее число моментов, бесконечно приближалась бы к той системе однородных колебаний, о которой говорит реализм, но, конечно, никогда не совпала бы с ними вполне. Таким образом, не нужно ставить с одной стороны пространство с невоспринятыми движениями, с другой — сознание с непротяженными ощущениями. Наоборот, субъект и объект соединяются в протяженном восприятии, так как субъективный аспект восприятия происходит от сжатия, совершаемого памятью, а объективная реальность материи соответствует многочисленным и последовательным импульсам, на которые это восприятие разлагается внутренне. Таково, по крайней мере, заключение, которое, мы надеемся, можно будет вывести из последней части этой работы. *Вопросы, касающиеся субъекта и объекта, их различия и их соединения, должны быть поставлены скорее как функции времени, чем пространства.*

\* \* \*

Но наше различие «чистого восприятия» и «чистой памяти» имеет в виду и другое. Если чистое восприятие, доставляя нам указания на природу материи, должно позволить нам занять среднее положение между реализмом и идеализмом, чистая память, открывая перспективы на то, что называют духом, должна будет провести различие между двумя другими доктринами: материализмом и спиритуализмом. Именно этой стороной вопроса мы займемся в следующих двух главах, потому что в этом направлении

наша гипотеза допускает до некоторой степени экспериментальную проверку.

Наши заключения о чистом восприятии можно резюмировать так: *в материи есть нечто сверх того, а не отличное от того, что дано фактически.* Сознательное восприятие, без сомнения, не достигает целого материи, так как оно состоит, будучи сознательным, в разделении или в «различении» в этой материи того, что касается наших различных нужд. Но между таким восприятием материи и самой материей разница только в степени, а не по существу, так как чистое восприятие стоит к материи в отношении части к целому. Значит, материя не может обнаруживать сил иного рода, чем те, которые мы в ней видим. Она не обладает таинственными свойствами, она не может заключать их в себе. Возьмем совершенно определенный пример, к тому же пример более всего нас интересующий: нервная система, материальная масса, представляющая известные качества цвета, сопротивляемости, сцепления и т. д. обладает, может быть, невоспринятыми физическими свойствами, но свойствами только физическими. И следовательно, роль ее должна сводиться только к тому, чтобы получать, задерживать или передавать движение.

Между тем сущность всякого материализма состоит в утверждении противного, так как он мнит вывести сознание со всеми его функциями исключительно из действий материальных элементов. Тем самым он вынужден рассматривать воспринятые качества материи, качества чувственные, то есть ощущаемые, как фосфоресценции, следующие за ходом мозговых явлений в акте восприятия. Материя, способная создавать эти элементарные факты сознания, способна также порождать наиболее высокие интеллектуальные факты. Таким образом, материализм утверждает совершенную относительность чувственных качеств, и не даром это положение, которому Демо-

крит дал точную формулу, столь же древне, как материализм.

Но по странному ослеплению спиритуализм всегда следовал на этом пути за материализмом. Думая обогатить дух всем, что он отнимал у материи, он без всякого колебания лишал эту материю тех качеств, которыми она облекается в нашем восприятии и которые ему представляются субъективными видимостями. Он слишком часто обращал таким путем материю в таинственную сущность, которая именно потому, что мы знаем только ее пустую видимость, может одинаково зарождалась как феномены мысли так и другие.

Есть только одно средство опровергнуть материализм, а именно: установить, что материя абсолютно такова, какою она кажется. Этим из материи исключалась бы всякая виртуальность, всякая сокрытая сила, а явления духа получили бы независимую реальность. Но для этого надобно было бы оставить материи ее качества, которые и материалисты и спиритуалисты одинаково отделяют от нее, последние — обращая их в представление духа, а первые — не видя в них ничего, кроме случайной оболочки пространства.

Именно такое положение относительно материи занимает здравый смысл, почему он и верит в дух. Нам кажется, что философия должна в этом случае принять точку зрения здравого смысла, сделав, впрочем, поправку в одном пункте. Память, практически неотделимая от восприятия, вставляет прошлое в настоящее, сжимает в единой интуиции множество моментов времени, и таким образом, своим двойным действием, является причиной того, что мы на самом деле воспринимаем материю в нас, тогда как по праву мы воспринимаем ее в ней самой.

Отсюда вытекает капитальное значение проблемы памяти. Если в особенности память придает восприятию его субъективный характер, то задача фи-

лософии материи, сказали мы, должна заключаться в выделении того, что память приносит. Теперь мы прибавим: так как чистое восприятие дает нам целое или, по крайней мере, существенное материи, так как остальное исходит из памяти и прибавляется к материи, то необходимо, чтобы память, в принципе, была силой совершенно независимой от материи. Стало быть, если дух есть реальность, здесь, в явлениях памяти, мы должны его коснуться экспериментально. А если это так, то всякая попытка вывести чистое воспоминание из мозгового процесса должна обнаружить, при анализе, основную ошибку.

Повторим сказанное в более ясной форме. Мы утверждаем, что материя не обладает никакой тайной или непознаваемой силой, что в существенном она совпадает с чистым восприятием. Отсюда мы заключаем, что живое тело вообще, нервная система в частности суть только места прохождения движений, которые, получаясь в виде раздражений, передаются в виде рефлекторных или волевых актов, и напрасно придавать мозговому веществу способность зарождать представления. Между тем, явления памяти, — где мы надеемся настигнуть дух в его наиболее осязаемой форме, — и есть те явления, которые поверхностная психология охотнее всего выводит единственно из мозговой деятельности, как потому, что они находятся на точке соприкосновения между сознанием и материей, так и потому, что сами противники материализма, без затруднения, признают мозг заместилище воспоминаний. Но если бы можно было установить положительно, что мозговой процесс отвечает лишь очень малой доле памяти, что он более следствие ее, чем причина, что материя и здесь, как всюду, только носительница *действия*, а не субстрат *познания*, тогда защищаемое нами положение являлось бы доказанным на примере, считающимся наиболее неблагоприятным, и необходимость возвести

дух в независимую реальность напрашивалась бы сама собою. Но чрез это отчасти выяснилась бы природа того, что называют духом, и возможность для духа и для материи действовать друг на друга. Такого рода доказательство не может быть чисто отрицательным. Показав, чем память не может быть, нам придется искать, что она такое. Признав за телом единственную функцию приготовления действия, мы неминуемо должны будем исследовать, почему память кажется связанной с этим телом, как влияют на нее телесные повреждения и в каком смысле она приносится к состоянию мозгового вещества. К тому же невозможно, чтобы исследование это не привело нас к уяснению психологического механизма памяти, а также и различных процессов духа с ним связанных. И наоборот, если чисто психологические проблемы, по-видимому, становятся яснее при нашей гипотезе, то сама эта гипотеза становится и достовернее и прочнее.

Но ту же мысль мы должны представить еще и в третьей форме, чтобы хорошо установить, насколько проблема памяти, на наш взгляд, есть проблема привилегированная. Из нашего анализа чистого восприятия вытекают два заключения, из которых одно переходит за пределы психологии в направлении психофизиологии, а другое в направлении метафизики, и, следовательно, ни то ни другое не допускают непосредственной проверки. Первое относилось к роли мозга в восприятии: мозг есть орудие действия, а не представления. Мы не могли требовать прямого подтверждения этого положения фактами, потому что чистое восприятие, по самому определению, обращено на предметы присутствующие, возбуждающие наши органы и наши нервные центры, и все, следовательно, всегда будет происходить так, *как будто* наши восприятия исходят из нашего мозгового состояния, проецируясь затем на предмет от

них совершенно отличный. Другими словами, в случае внешнего восприятия, положение, нами оспариваемое, и то, которым мы его заменяем, приводят к одинаковым выводам, так что в пользу того или другого можно приводить только его большую понятность, но не авторитет опыта. Наоборот, эмпирическое исследование памяти может и должно отделить их. В самом деле, частое воспоминание, по гипотезе, есть представление отсутствующего предмета. Если известная деятельность мозга была необходимой и достаточной причиной возникновения восприятия, то этой же деятельности при отсутствии предмета будет достаточно для воспроизведения восприятия: тогда память можно будет всецело объяснить мозгом. Если же, наоборот, мы найдем, что мозговой механизм обуславливает воспоминание в некотором отношении, но совсем недостаточен, чтоб обеспечить выживание воспоминания, что в вспомненном восприятии он касается скорее нашего действия, чем представления, то из этого можно будет заключить, что аналогичную роль он играет и в самом восприятии, что функция его — просто обеспечить наше воздействие на присутствующий предмет. Наше первое заключение оказалось бы таким образом проверенным. Тогда оставалось бы второе заключение, скорее метафизического порядка, по которому в чистом восприятии мы в самом деле поставлены вне самих себя, и в действительности касаемся реальности предмета в непосредственной интуиции. Тут также экспериментальная проверка невозможна, потому что практические результаты окажутся совершенно теми же, будет ли реальность предмета воспринята интуитивно, или она будет рационально построена. Но и здесь изучение воспоминания поможет отделить эти две гипотезы. В самом деле, по второй из них между восприятием и воспоминанием разница только в интенсивности, или в степени, так как и то и другое будут

самодовлеющими явлениями представления. Наоборот, если между воспоминанием и перцепцией существует не просто разница в степени, но коренное различие по существу, то вероятность будет на стороне гипотезы, которая вводит в перцепцию нечто ни в какой мере не существующее в воспоминании — интуитивно уловленную реальность. Таким образом, проблема памяти поистине привилегированная проблема, потому что она должна вести к психологической проверке двух положений, которые кажутся недоступными проверке и из которых второе, скорее метафизического порядка, по-видимому, далеко выходит за пределы психологии.

Путь, по которому мы пойдем, ясно намечен. Мы начнем с обзора различного материала заимствованного из нормальной или патологической психологии, рассчитывая вывести из него физическое объяснение памяти. Это исследование будет по необходимости кропотливым, чтоб не стать бесполезным. Мы должны, придерживаясь возможно близко очертаний фактов, искать, где начинается и где кончается роль тела в процессе памяти. И в случае, если бы мы нашли в этом исследовании подтверждение нашей гипотезы, мы не колеблясь пойдем дальше, рассмотрим элементарную работу духа и тем дополним намеченную теорию отношения духа к материи.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### УЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ. ПАМЯТЬ И МОЗГ

Выскажем теперь же заключения, вытекающие из наших положений для теории памяти. Мы сказали, что тело поставленное между предметами, которые на него действуют, и телами, на которые оно влияет, есть только проводник, долженствующий собирать движения и передавать их, когда оно их не задерживает, двигательным механизмом, определенным, если движение рефлексивно, избранным, если движение волевое. Все должно, следовательно, происходить так, как будто независимая память собирает образы во времени, по мере того как они возникают, и как будто тело наше со всем, что его окружает, есть только известный образ среди образов, последний, который мы получаем во всякий момент, делая мгновенный разрез в совершающемся вообще. В этом разрезе тело наше занимает центр. Вещи, его окружающие действуют на него, и оно с своей стороны действует на них. Реакции его более или менее сложны, более или менее разнообразны, смотря по числу и по природе аппаратов, установленных опытом внутри его вещества. Стало быть действие прошедшего оно может накапливать в форме двигательных и только двигательных приборов. Отсюда можно заключить, что образы прошлого, в собственном смысле слова, сохраняются иначе и что мы должны, следовательно, так формулировать эту первую гипотезу:

*1. Прошлое переживает себя в двух различных*

*формах: 1) в двигательных механизмах, 2) в независимых воспоминаниях.*

Но в таком случае, практический и, следовательно, обычный акт памяти, пользование прошлым опытом для действия в настоящем, т. е. узнавание, должно совершаться двумя способами. Оно будет происходить или при самом действии, автоматическим ходом приспособленного к обстоятельствам механизма, или вызовет работу духа, который будет искать в прошлом, чтобы направить их на настоящее, представления, наиболее подходящие для настоящего положения. Отсюда второе положение:

*II. Узнавание присутствующего предмета совершается при помощи движений, когда оно исходит от объекта, при помощи представлений, когда оно исходит от субъекта.*

Но здесь возникает еще один вопрос: как сохраняются эти представления и в каком отношении они находятся к двигательным механизмам. Вопрос этот будет подробно разобран лишь в следующей главе, когда мы будем говорить о бессознательном, и покажем, в чем состоит в сущности различие между прошедшим и настоящим. Но уже теперь мы можем говорить о теле как о подвижном пределе между будущим и прошедшим, как о движущемся острие, которое наше прошедшее как бы толкает непрерывно в наше будущее. Тело мое, взятое в единый миг, есть только проводник, вставленный между предметами на него влияющими и предметами, на которые оно действует; наоборот, переставленное в текущее время, оно всегда находится в определенной точке, где мое прошедшее только что закончилось *действием*. И следовательно, те особые образы, которые я называю мозговыми механизмами, во всякий момент *заканчивают* ряд моих прошлых представлений, будучи последним продолжением, которое эти представления отсылают в настоящее, точкой их

сцепления с реальным, то есть с действием. Разорвите это сцепление, прошлый образ, может быть, не разрушится, но вы лишаете его всякой возможности действовать на реальное и, следовательно, как мы покажем впоследствии, осуществляться. В этом, и только в этом, смысле мозговое повреждение сможет уничтожить что-нибудь в памяти. Отсюда наше третье и последнее положение:

*III. От расположенных по пути времени воспоминаний незаметными степенями переходят к движениям, которые рисуют зарождающееся или возможное действие этих воспоминаний в пространстве. Мозговые повреждения могут отозваться на этих движениях, но не на воспоминаниях.*

Остается выяснить, оправдываются ли эти три положения на опыте.

I. *Две формы памяти.* Я учу урок и, чтоб выучить его наизусть, я сперва читаю его, скандируя каждый стих; я повторяю урок несколько раз. При каждом новом чтении получается успех; слова читаются все лучше, наконец они организуются в целое. В этот момент я знаю свой урок наизусть: говорят, что он сделался воспоминанием, что он запечатлелся в моей памяти.

Теперь я хочу знать, как урок был выучен, и я представляю себе все фазисы, через которые я проходил по очереди. Каждое из последовательных чтений приходит мне тогда на ум с присущей ему особенностью; я вновь вижу его со всеми обстоятельствами его сопровождавшими, они окружают его и по сейчас; это чтение отличается от предыдущих и последующих самым местом, которое оно занимало во времени: короче говоря, каждое из этих чтений вновь проходит передо мной, как определенное событие моей истории. Нам скажут, что образы — эти воспоминания, что они запечатлелись в моей памяти. В обоих случаях употребляют одни и те же слова. Но разве здесь идет речь об одной и той же вещи?

Воспоминание урока, поскольку он выучен наизусть, имеет все признаки привычки. Как всякая привычка, оно приобретается повторением того же усилия. Как привычка, оно требовало сперва разложения, затем воссоединения полного действия. Наконец, как всякое привычное упражнение тела, оно накопилось в механизме, который целиком приводится в действие начальным импульсом, в замкнутой системе автоматических движений, которые следуют друг за другом в одном и том же порядке и занимают одинаковое время.

Наоборот, воспоминание об одном определенном чтении, втором или третьем напр., не имеет *никаких* признаков привычки. Образ его сразу запечатлелся в памяти, потому что другие чтения составляют, по самому определению, воспоминания различные. Это как бы событие моей жизни; сущность его в том, что оно относится к определенному времени и, следовательно, не может повторяться. Все, что к нему прибавят последующие чтения, не может изменить его первоначальной природы; и если, при частом повторении, для вызова этого образа будет требоваться все меньше усилия, то самый образ, сам по себе, непременно был с самого начала таким, каким всегда останется.

Можно ли сказать, что эти два воспоминания, воспоминание чтения и урока, различаются только по степени, что последовательные образы, возникающие при каждом чтении, покрывают друг друга и что выученный урок есть только сборный образ, полученный наслаением всех остальных? Несомненно, что каждое чтение отличается от предыдущего особенно тем, что урок все лучше выучивается. Но каждое из них, рассматриваемое как новое чтение, а не как лучше выученный урок, совершенно довлеет себе, остается таким, каким оно воспроизвелось, и составляет со всеми сопричастствующими восприятиями неизменный момент моей истории. Можно пойти даль-

ше и сказать, что сознание открывает нам между этими двумя родами воспоминаний глубокое различие, различие по существу. Воспоминание об одном определенном чтении есть представление и только представление; оно заключается в интуиции, которую я могу по желанию продлить или сократить; я придаю ему произвольную длительность; ничто не мешает мне охватить его сразу, как картину. Наоборот, воспоминание выученного урока, даже когда я ограничиваюсь повторением его внутренне, требует совершенно определенного времени, времени, которое потребно для развития одного за другим, хотя бы в воображении, всех нужных для членораздельной речи движений: стало быть, это уже не представление, а действие. И в самом деле, раз урок выучен, на нем нет никакого следа его происхождения, ничего, что определяет его место в прошедшем; он составляет часть моего настоящего, как моя привычка ходить или писать; он пережит, скорее обращен в действие, нежели представлен; я мог бы считать его врожденным, если б не был способен вызывать одновременно, как ряд представлений, последовательные чтения, с помощью которых я его выучил. Эти представления, стало быть, независимы от него, и так как они предшествовали выученному и пересказанному уроку, то урок, будучи выучен, может обойтись уже без них.

Доведя до конца это коренное различие, можно было бы представить себе две памяти, теоретически независимые. Первая записывает в виде образов воспоминаний все события нашей ежедневной жизни по мере того, как они развертываются; она не пропускает ни одной подробности; она оставляет каждому факту, каждому жесту его место и его время. Без задней мысли о пользе или практическом применении она сохраняет прошедшее в силу одной естественной необходимости. При ее помощи становится возможным разумное или, скорее, интеллектуальное распознавание

уже полученного восприятия; к ней мы прибегаем всякий раз, когда поднимаемся по склону нашей прошлой жизни для розыска там какого-нибудь образа. Но всякое восприятие продолжается в зачинающееся действие; и по мере того как образы, будучи восприняты, укореняются и размещаются в этой памяти, движения, их продолжавшие, видоизменяют организм, создают в теле новые приспособления для действия. Таким путем слагается опыт совершенно иного рода, который запечатлевается в теле; образуется ряд вполне готовых механизмов, со все более и более многочисленными и разнообразными реакциями на внешние раздражения, с готовыми ответами на непрерывно увеличивающееся число возможных запросов. Мы начинаем сознавать присутствие этих механизмов в тот момент, когда они приходят в действие, и это сознание всех усилий прошлого, собранного в настоящем, есть опять-таки память, но память глубоко отличная от первой, всегда устремленная на действие, сущая в настоящем и имеющая в виду лишь будущее. От прошедшего она удержала только разумно координированные движения, которые представляют собою накопленное усилие; она находит вновь эти прошлые усилия не в образах-воспоминаниях, напоминающих о них, но в строгом порядке и систематическом характере, с которыми настоящие движения выполняются. На самом деле, она уже не представляет нашего прошедшего, она его разыгрывает; если она еще заслуживает названия памяти, то не потому, что сохраняет былые образы, а потому, что продолжает их полезное действие до настоящего момента.

В этих двух памятьях, из которых одна *воображает*, а другая *повторяет*, вторая может заменять первую и часто даже давать иллюзию первой. Когда собака встречает хозяина радостным лаем и лаской, она, без сомнения, его узнает; но для этого узнавания необходимо ли вызвать прошлый образ и сблизить его

с восприятием в настоящем? Не состоит ли оно скорее в том, что животное сознает известное положение, принятое его телом, положение, создавшееся мало-помалу близким его общением с хозяином, так что одно восприятие хозяина уже механически вызывает у животного то же положение? Не будем заходить слишком далеко! И у животного неясные образы былого, может быть, заслоняют восприятия настоящего; можно даже допустить, что все его прошлое целиком потенциально начертано в его сознании; но это прошлое интересует его недостаточно, оно не может отвлечь его от настоящего, всецело его поглощающего; поэтому здесь узнавание должно скорее быть пережитым, чем мыслимым. Чтобы вызвать прошлое в виде образа, надобно иметь способность отвлекаться от действия в настоящем, надобно уметь ценить бесполезное, надобно хотеть мечтать. Быть может, только человек способен на усилие этого рода. К тому же, это прошлое, к которому мы восходим таким образом, трудно уловимо, всегда готово ускользнуть от нас, как будто этой регрессивной памяти мешает другая память, более естественная, поступательное движение которой заставляет нас действовать и жить.

Когда психологи говорят о воспоминании как об образовавшейся складке, как о впечатлении, которое повторяясь врезывается все глубже, они забывают, что огромное большинство наших воспоминаний связано с событиями и подробностями нашей жизни, сущность коих в том, что они относятся к известному моменту времени и, следовательно, уже никогда не повторяются. Воспоминания, приобретаемые усилием воли, повторением, редки, исключительны. Наоборот, записывание памятью фактов и образов единственных в своем роде, производится во все моменты. Но так как *заученные* воспоминания самые полезные, их более замечают. А так как приобретение этих воспоминаний при помощи повторного усилия сходно

с уже известным процессом привычки, то выдвигают этого рода воспоминание на первый план, делают из него образец воспоминания, а в самопроизвольном воспоминании видят это самое явление только в зачаточном состоянии, начало выучивания наизусть урока. Но как не видеть радикальной разницы между тем, что должно установиться повторением, и тем, что по своей сущности не может повториться? Самопроизвольное воспоминание закончено сразу; время ничего не может прибавить к его образу не изменив его; оно сохранит в памяти свое место и свою дату. Наоборот, заученное воспоминание будет выступать из времени по мере того, как урок будет лучше заучиваться; оно будет становиться все более и более безличным, все более отчужденным от нашей прошлой жизни. Стало быть, повторение вовсе не превращает первое во второе; роль его заключается просто в наибольшем использовании движений, в которые первое продолжается, для согласования их между собою и в том, чтоб, установив механизм, создать привычку тела. Привычку эту, к тому же, я только потому считаю воспоминанием, что помню, как я ее приобретал; а помню я, что она приобретена лишь потому, что обращаюсь к самопроизвольной памяти, к той, которая отмечает время событий, записывая их только один раз. Из двух памятей, нами различенных, первая и есть, вероятно, память по преимуществу. Вторая, та что обыкновенно изучается психологами, есть скорее *привычка, освещенная памятью*, нежели сама память.

Правда, пример урока, выученного наизусть, несколько искусственный пример. Тем не менее наше существование протекает среди ограниченного числа предметов, которые более или менее часто проходят перед нами: каждый из них, будучи воспринят, вызывает в нас, одновременно с восприятием, по крайней мере, зарождающиеся движения, при помощи которых мы к предмету приспособля-

емся. Эти движения, повторяясь, создают механизм, переходят в состояние привычки и заставляют наше тело принимать особые положения, которые автоматически следуют за нашим восприятием вещей. Мы сказали, что наша нервная система не имеет иного назначения. Приводящие нервы приносят к мозгу возбуждение, которое, разумно выбрав свой путь, передается двигательным механизмам, образованным повторением. Так образуется подходящая реакция, равновесие в среде — словом, приспособление — общая цель жизни. И живое существо, которое довольствовалось бы просто жизнью, не нуждалось бы ни в чем ином. Но в то время как происходит этот процесс восприятия и приспособления, который заканчивается записью прошлого в виде двигательных привычек, сознание, как мы увидим, удерживает образ положений, через которые оно поочередно проходило, и располагает их в порядке их следования. К чему послужат эти образы воспоминания? Сохраняясь в памяти, воспроизводясь в сознании, не извратят ли они практический характер жизни, примешивая к действительности грезу? Так, несомненно, было бы, если б наше сознание, сознание, точно отражающее приспособление нашей нервной системы к данному положению, не устраняло бы всех образов прошлого, не могущих координироваться с восприятием настоящего и образовать с ним *полезное* целое. Самое большее, если некоторые смутные воспоминания, не относящиеся к данному положению, выступят из-за полезно ассоциированных образов, слагаясь вокруг них в менее освещенную кайму, которая теряется в огромной области окружающего ее мрака. Но пусть случайно нарушится равновесие, удерживаемое мозгом между внешним возбуждением и двигательной реакцией, пусть на минуту ослабнет напряжение нитей, идущих от периферии к периферии, проходя через

центр, и затемневшие образы начинают выбиваться на свет: это последнее условие осуществляется, без сомнения, когда снятся сны. Из двух различных нами памятей вторая, активная или двигательная, должна будет постоянно задерживать первую или, по крайней мере, брать из нее лишь то, что может уяснить или дополнить с пользой данное положение: так выводятся законы ассоциации идей. Но образы, накопленные самопроизвольной памятью, помимо услуг, которые они могут оказывать своей ассоциацией с восприятием настоящего, имеют и другое назначение. Без сомнения, то образы-грёзы; без сомнения, они обыкновенно появляются и исчезают помимо нашей воли; и именно поэтому мы вынуждены, для того чтоб *знать* вещь действительно, чтобы иметь ее в своем распоряжении, выучить ее наизусть, то есть подставить вместо самопроизвольного образа двигательный механизм, способный этот образ заменить. Но существует известное усилие *sui generis*, позволяющее удержать и самый образ на ограниченное время под взором нашего сознания; и благодаря этой способности нам нет надобности ждать случайного повторения одинаковых положений, чтобы обратить в привычку сопутствующие движения; мы пользуемся убегающим образом, чтобы построить прочный механизм для его замены. Наконец, или наше различие двух независимых памятей неправильно, или, если оно соответствует фактам, мы должны наблюдать усиление самопроизвольной памяти в большинстве случаев, когда нарушено равновесие чувственно-двигательной нервной системы, и наоборот, в нормальном состоянии, задержку всех самопроизвольных воспоминаний, которые не могут с пользой укрепить существующее равновесие; наконец, в процессе, которым приобретается воспоминание-привычка, мы должны наблюдать скрытое вмешательство

воспоминания-образа. Подтверждают ли эту гипотезу факты?

Мы не будем пока настаивать ни на первом, ни на втором пункте: мы надеемся совершенно выяснить их при изучении расстройств памяти и законов ассоциации идей. Ограничимся тем, что покажем, как в вещах заученных обе памяти идут рядом и помогают одна другой. Ежедневный опыт показывает, что уроки, усвоенные двигательной памятью, повторяются автоматически; но наблюдение над патологическими случаями показывает, что здесь автоматизм идет гораздо дальше, чем мы думаем. Известны случаи, когда слабоумные разумно отвечали на ряд вопросов, которых они не понимали: у них речь функционировала по типу рефлекса<sup>\*</sup>. Больные афазией, неспособные самопроизвольно выговорить ни одного слова, без ошибки вспоминают слова песни, когда они ее поют<sup>\*\*</sup>. Они могут тоже бегло прочесть молитву, просчитать естественный ряд чисел, назвать дни недели, месяцы года<sup>\*\*\*</sup>. Так чрезвычайно сложные механизмы, по тонкости своей уподобляющиеся разуму, могут функционировать сами по себе, раз они сложились, и, следовательно, могут обычно повиноваться одному изначальному импульсу воли. Но что происходит, когда мы их строим? Когда, напр., мы учим что-либо наизусть, то разве тот зрительный или слуховой образ, который мы стараемся воспроизвести движениями, не находится уже в нашем уме, невидимый, но присутствующий? Уже

---

\* Robrtson. *Reflex Speech* (*Journal of Mental Science*, апрель 1888). См. статью Ch. Féré. *Le langage réflexe* (*Revue Philosophique*, январь 1896).

\*\* Oppenheim. *Ueber das Verhalten der musikalischen Ausdrucksbewegungen bei Aphatischen* (*Charité Annalen*, XIII, 1888, стр. 348 и след.).

\*\*\* Ibid. стр. 365.

с первой попытки сказать урок наизусть мы замечаем, по неопределенному чувству неловкости, что сделали ошибку, как будто получаем род предупреждения из темных глубин сознания\*. Сосредоточьтесь тогда на том, что вы испытываете, и вы почувствуете, что здесь заключен полный образ, но убегающий, подобный призраку, который исчезает именно в то мгновение, когда ваши двигательные отправления хотели бы закрепить его силуэт. При недавних опытах, имевших, впрочем, другую цель\*\*, лица, подвергнутые испытанию, говорили, что они испытывают именно такое впечатление. В течение нескольких секунд им показывали ряд букв; они должны были их запомнить. Но чтобы не дать возможности подчеркнуть виденные буквы соответственными движениями членораздельной речи, от испытуемых субъектов требовали, чтобы они, глядя на буквы, повторяли определенный слог. Отсюда получалось особое психологическое состояние: испытуемые субъекты чувствовали, что они вполне овладели зрительным образом, «не будучи в то же время в состоянии воспроизвести в данный момент ни одной мельчайшей его части: к их великому изумлению, строчка исчезала. По словам одного из них, в основе явления лежало лишь представление целого, род сложной идеи, обнимавшей все, где отдельные части давали неопределимое ощущение целого»\*\*\*.

\* По поводу этого чувства ошибки см. статью Müller'a и Schumann'a. *Experimentelle Beiträge zur Untersuchung des Gedächtnisses* (Zeitschr. f. Psych. u. Phys. Des Sinnesorgane, Дек. 1893, стр. 305).

\*\* W. G. Smith. *The relation of attention to memory* (*Mind*, янв. 1895).

\*\*\* «According to one observer, the basis was a *Gesamtvorstellung*, a sort of all embracing complex idea in which the parts have an indefinitely felt unity» (Smith, в назв. стат., стр. 73).

Это самопроизвольное воспоминание, которое, без сомнения, кроется за приобретенным воспоминанием, может обнаружиться внезапными проблесками; но оно исчезает при малейшем движении волевой памяти. Ряд букв, образ которых субъект считал усвоенным, исчезает особенно в то время, когда он начинает их повторять: «это усилие как бы вытесняет остаток образа из сознания»\*. Разберите теперь приемы, придуманные мнемотехникой, вы увидите, что наука эта именно задается целью вывести на первый план самопроизвольное воспоминание, которое скрыто, и дать его в наше распоряжение, как воспоминание активное: с этой целью прежде всего подавляют всякое участие деятельной или двигательной памяти. Способность умственной фотографии, говорит один автор\*\*, принадлежит скорее подсознательному, чем сознательному; она с трудом повинуется призыву воли. Для ее упражнения надобно привыкнуть, например, запоминать сразу несколько группировок точек, даже и не думая о том, чтобы их

---

\* Не совершается ли нечто подобное при расстройстве, которое немецкие авторы называют *дислексией*? Больной читает правильно первые слова фразы, потом внезапно останавливается и продолжать чтение не способен, как будто движение членораздельной речи подавили воспоминания. По поводу дислексии см: Berlin. *Eine besondere Art der Wortblindheit (Dyslexie)*. Wiesbaden, 1887, и Sommer. *Die Dyslexie als funktionnelle Störung* (Arch. f. Psychiatrie, 1893). С этими же явлениями мы сближаем странные случаи словесной глухоты, когда больной понимает слова других, но не понимает своих слов (см. примеры, цитируемые Bateman'ом. *On Aphasia*, стр. 200; Bernard'ом. *De l'Aphasie*. Paris, 1889, стр. 143 и 144; Broadbent'ом. *A case of peculiar affection of speech*. Brian, 1878—79, стр. 484 и след.).

\*\* Mortimer Granville. *Ways of remembering* (*Lancet*, 27 сент. 1879 г., стр. 458).

считать\* : надобно в некотором роде подражать мгновенности этой памяти, чтобы научиться ее дисциплинировать. И все же она остается капризной в своих проявлениях, и так как воспоминания, ею приносимые, несколько сходны с грезой, ее более правильное вторжение в духовную жизнь редко обходится без глубокого нарушения умственного равновесия.

Что такое эта память, откуда она происходит и как действует, об этом мы узнаем в следующей главе. Пока для нас достаточно схематического о ней представления. Резюмируя предшествующее, скажем, что прошедшее, по-видимому, накапливается, как мы уже предположили, в двух крайних формах: с одной стороны, как двигательные механизмы, которые им пользуются, с другой, как личные образы-воспоминания, которые рисуют все события с их контуром, их красками, их местом во времени. Из этих двух памятей первая на самом деле ориентирована в соответствии с природой, другая, предоставленная самой себе, приняла бы, скорее, обратное направление. Первая, приобретенная усилием, остается под властью нашей воли; вторая, совершенно произвольная, воспроизводит столь же капризно, как сохраняет точно. Единственная правильная и несомненная помощь, которую вторая может оказать первой, заключается в том, что она показывает первой образы того, что предшествовало или следовало за положениями, схожими с настоящим, и тем облегчает ее выбор: в этом состоит ассоциация идей. Нет другого случая, где вновь видящая память правильно повиновалась бы памяти повторяющей. Во всех остальных случаях мы предпочитаем строить механизм, который позволял бы нам, при нужде, вновь нарисовать образ, так как мы ясно чувствуем, что не можем рассчитывать на его новое

---

\* Kay. Memory and how to improve it. New York, 1888.

появление. Таковы две крайние формы памяти, рассматриваемые в их чистом состоянии.

Дело в том, что истинная природа воспоминания была ложно понята именно потому, что рассматривались промежуточные и до некоторой степени нечистые его формы. Вместо того чтобы прежде всего разъединить два элемента, образ-воспоминание и движение, и затем искать, каким рядом действий они сливаются, лишаясь части своей первоначальной чистоты, рассматривали только смешанное явление, уже результат их слияния. Это явление, будучи смешанным, имеет, с одной стороны, аспект двигательной привычки, с другой стороны, образа, более или менее сознательно локализованного. Но в нем желают видеть простое явление. Тогда, стало быть, надобно предположить, что механизм головного, спинного и продолговатого мозга, служащий основой двигательной привычки, есть также субстрат сознательного образа. Отсюда странная гипотеза воспоминаний, накопленных в мозгу, которые настоящим чудом становятся сознательными и при помощи таинственного процесса переносят нас в прошедшее. Правда, придают больше значения сознательной стороне процесса и желали бы видеть в этом нечто иное, чем эпифеномен. Но так как они не выделили память, задерживающую и располагающую последовательные повторения образов-воспоминаний, так как они смешивают ее с привычкой, усовершенствованной упражнением, они вынуждены думать, что результат повторения относится к одному нераздельному явлению, которое лишь закрепляется повторением: и так как это явление, по видимости, становится только двигательной привычкой и соответствует некоему механизму, мозговому или иному, они волей-неволей приходят к предположению, что механизм этого рода с самого начала лежал в основе образа и что мозг есть орган представления. Мы рассмотрим эти промежуточные

состояния и выделим в каждом из них участие *зарождающегося действия*, т. е. мозга, и долю независимой памяти, т. е. долю образов-воспоминаний. Каковы эти состояния? Будучи в некотором отношении двигательными, они должны, по нашей гипотезе, продолжать присутствующее восприятие; но с другой стороны, как образы, они воспроизводят прошлые восприятия. Но ведь конкретный акт, с помощью которого мы улавливаем прошлое в настоящем, есть *узнавание*. Стало быть, мы должны изучить узнавание.

II. *Об узнавании вообще: образы-воспоминания и движения*. Есть два обычные способа объяснять чувство «прежде виденного». Для одних узнать наличное восприятие значит мысленно поместить его в старую обстановку. Я встречаю человека в первый раз: я его просто воспринимаю. Если я встречу его снова, я его узнаю в том смысле, что сопутствующие обстоятельства первоначального восприятия приходят мне на ум и рисуют вокруг настоящего образа обстановку, которая не есть обстановка, воспринимаемая в настоящем. Распознать значит, стало быть, ассоциировать с наличным восприятием образы, данные когда-то в соприкосновении с ним.\* Но, как было основательно замечено\*\*, возобновленное восприятие может внушить мысль об обстоятельствах сопутствующих первоначальному восприятию, только если эта последняя сперва вызвана наличным состоянием, с ней сходным. Пусть А будет первое восприятие; сопутствующие ему обстоятельства В, С, D

\* Систематическое изложение этого положения, с подтверждающими его опытами можно найти в статьях Lehmann'a *Ueber Wiedererkennen* (*Philos. Studien Wundt's*, т. V, стр. 96 и след., и т. VII, стр. 169 и след.).

\*\* Pillon. *La formation des idées abstraites et générales* (*Crit. Philos.* 1885, т. I, стр. 208 и след.). — См. *Ward Assimilation and Association* (*Mind*, июль 1893 и октябрь 1894).

остаются ассоциированными с ним по смежности. Если то же возобновленное восприятие я назову А', то, так как не с А', а с А связаны члены В, С, D, чтоб были вызваны члены В, С, D, надобно, чтоб ассоциация по сходству заставила сперва появиться А. Бесполезно утверждать, что А' тождественно с А. Оба члена, хотя одинаковые, численно остаются отличными и различными, хотя бы по той простой причине, что А' есть восприятие, между тем как А стало только воспоминанием. Из приведенных нами двух объяснений, первое сливается таким путем со вторым, к рассмотрению которого мы и приступим.

На этот раз предполагают, что наличное восприятие всегда ищет, в глубине памяти, воспоминание о прежнем восприятии, с ним схожим: чувство «прежде виденного» исходит из сопоставления или слияния восприятия с воспоминанием. Не подлежит сомнению, — и на это было глубокомысленно указано\*, — что сходство есть уже отношение, установленное умом между членами, которые он сравнивает и которыми, следовательно, обладает, так что восприятие сходства есть скорее следствие ассоциации, чем ее причина. Но наряду с этим определенным и воспринятым сходством, заключающимся в общности одного элемента, схваченного и выделенного умом, есть сходство смутное, в некотором роде объективное, разлитое по поверхности самих образов и которое может действовать как физическая причина взаимного притяжения\*\*. Сошлемся ли мы на то, что часто узнаем предмет, не будучи в состоянии отождествить его со старым образом? На это отвечают, ссылаясь на

---

\* Brochard. *La loi de similarite*. *Revue Philosophique*, 1880, т. IX, стр. 258. Rabier присоединяется к этому мнению в *Lecons de Philosophie*, т. I, *Psychologie* стр. 187—192.

\*\* Pillon, цитированная статья, стр. 207. — См. James Sully. *The Human Mind*, London, 1892, т. I, стр. 331.

удобную гипотезу мозговых следов, которые совпадают, мозговых движений, облегченных упражнением\*, или воспринимающих клеток, сообщающихся с клетками, где хранятся воспоминания\*\*. В сущности, в такого рода физиологических гипотезах поневоле затериваются все теории узнавания. Они стремятся вывести всякое узнавание из сближения восприятия и воспоминания; но с другой стороны, есть опыт, и он свидетельствует чаще всего о том, что воспоминание появляется лишь, когда восприятие узнано. Тогда приходится отнести к мозгу, в виде комбинации движений или связи между клетками, то, что сначала было принято, как ассоциация представлений, и объяснять факт распознавания, весьма ясный на наш взгляд, гипотезой, по нашему мнению, очень темной, гипотезой мозга накапливающего идеи.

В действительности ассоциации восприятия с воспоминанием совершенно недостаточно, чтобы уяснить процесс распознавания. Если бы распознавание совершалось так, оно бы уничтожалось с исчезновением старых образов и всегда совершалось бы, когда эти образы сохранены. Психическая слепота, или неспособность узнавать воспринятые объекты, не существовала бы без задержки зрительной памяти, особенно же задержка зрительной памяти неизменно имела бы последствием психическую слепоту. Между тем опыт не подтверждает ни того, ни другого из этих выводов. В одном наблюдении Wilbrand'a\*\*\*, больная могла описывать с закрытыми глазами го-

---

\* Höffding. *Ueber Wiedererkennen, Association und psychische Actiität* (*Vierteljahrsschrift f. wissenschaftliche Philosophie*, 1889, стр. 433).

\*\* Munk. *Ueber die funktionen der grosshirnrinde*. Berlin, 1881, стр. 108 и след.

\*\*\* *Die Seelenblindheit als Herderscheinung*. Wiesbaden, 1887, стр. 56.

род, в котором жила, и в воображении гулять в нем; чуть только она попадала на улицу, ей все казалось новым; она ничего не узнавала и не могла ориентироваться. Подобные факты наблюдались Müller'ом\* и Lissauer'ом\*\*. Больные умеют вызвать внутреннее видение предметов, которые им называют, они очень верно их описывают, и вместе с тем они не могут узнать их, когда им их показывают. Стало быть, даже сознательного сохранения зрительного воспоминания недостаточно для распознавания схожего восприятия. Наоборот, в другом наблюдении Шарко\*\*\*, ставшим классическим, при полном затмении зрительных образов распознавание восприятий было не вполне уничтожено, в чем легко убедиться, внимательно прочитав отчет этого случая. Пациент не узнавал, конечно, улиц своего родного города в том смысле, что он не мог ни называть их, ни ориентироваться в них; но он знал, что это улицы и что он видит дома. Он не узнавал ни жены, ни своих детей; но, видя их, он все же мог сказать, что это женщина и дети. Все это было бы совершенно невозможно при психической слепоте в абсолютном значении этого слова. Стало быть, уничтожено было некоторого рода распознавание, анализ которого мы сделаем, но не общая способность узнавать. Заключим из этого, что не всякое распознавание и не всегда требует вмешательства старых образов, что можно вызвать эти образы и не быть в состоянии отождествить с ними восприятия. Что же такое в конце концов распознавание и какое определение мы ему дадим?

Прежде всего, на рубеже распознавания есть распо-

---

\* Ein Beitrag zur Kenntniss der Seelenblindheit (*Arch. f. Psychiatrie*, t. XXIV, 1892).

\*\* *Ein Fall von Seelenblindheit* (*Arch. f. Psychiatrie*, 1889).

\*\*\* Приводимом Bernard'ом. Un cas de suppression brusque et isolée de la vision mentale (*Progrès Médical*, 21 июля 1883).

знание *во мгновеньем*, распознавание, на которое способно тело само по себе, без всякого вмешательства определенного воспоминания. Оно состоит в действии, а не в представлении. Я хожу, например, в первый раз в каком-нибудь городе. На каждом перекрестке я затрудняюсь, не зная куда идти; я в нерешительности, этим я хочу сказать, что перед моим телом становятся альтернативы, что движение мое в целом прерывисто, что в одном положении моего тела нет ничего, что предполагает и prepares следующие его положения. Позднее, после долгого пребывания в этом городе, я буду ходить машинально, не имея ясного восприятия о вещах, мимо которых я прохожу. Между этими двумя крайними условиями, одним, когда восприятие еще не организовало определенных движений его сопровождающих, и другим, где эти сопутствующие движения настолько организованы, что восприятие мое стало бесполезным, есть промежуточное условие, когда предмет воспринят, но вызывает движения, связанные между собою, непрерывные, которые переходят одно в другое. Я начал с состояния, при котором я не различал ничего, кроме своего восприятия; я кончаю состоянием, при котором не сознаю ничего, кроме своего автоматизма: между ними находилось смешанное состояние, — восприятие подчеркивалось зарождавшимся автоматизмом. Теперь, если последующие восприятия отличаются от первого восприятия тем, что они ведут тело к надлежащей машинальной реакции, если, с другой стороны, эти возобновленные восприятия представляются уму в том аспекте *sui generis*, который характеризует обычные или узнанные восприятия, не должны ли мы думать, что сознание хорошо урегулированного двигательного аккомпанемента, организованной двигательной реакции, составляет основу чувства общности? В основе распознавания есть, стало быть, явление двигательного порядка.

Узнавать предмет обихода состоит в особенности

в умении им пользоваться. Это настолько верно, что первые наблюдатели дали название *апраксии* болезни распознавания, которую мы называем психической слепотой\*. Но уметь им пользоваться значит уже намечать приспособленные для этого движения, принимать известное положение тела или, по крайней мере, стремиться к этому под влиянием того, что немцы называли «двигательными побуждениями» (*Bewegungsantriebe*). Привычка пользоваться предметом, стало быть, ведет к организации движений и восприятий, и опять тут в основе распознавания лежит сознание этих зарождающихся движений, следующих за восприятием, как своего рода рефлекс.

Нет восприятия, которое не продолжалось бы в движении. Ribot\*\* и Maudsley\*\*\* давно обратили на это внимание. Воспитание чувств состоит в совокупности установившихся соотношений между чувственным впечатлением и движением, которое им пользуется. По мере повторения впечатления соотношение укрепляется. Механизм этого процесса не имеет к тому же ничего таинственного. Наша нервная система, несомненно, расположена в виду постройки двигательных аппаратов, связанных при посредстве центров с чувствительными раздражениями; прерывность нервных элементов, множественность их конечных разветвлений, способных, без сомнения, сближаться различным образом, делают бесконечным число воз-

---

\* Kussmaul. *Les troubles de la parole*, Paris. 1884, стр. 233. — Allen Starr. *Apraxia and Aphasia (Medical Record, 27 октября 1888)*. — См. Laquet. *Zur Lokalisation der sensorischen Aphasie (Neurolog. Centralblatt, 15 июня 1888)*, и Dodds. *On some central affections of vision (Berlin, 1885)*.

\*\* *Les mouvements et leurs importance psychologique (Revue Philosophique, 1879, t. VIII, стр. 371 и след.)*. См. *Psychologie de l'Attention*. Paris, 1889, стр. 75 (изд. Félix Alcan).

\*\*\* *Physiologie de l'esprit*. Paris, 1879, стр. 207 и след.

можных соотношений между впечатлениями и соответствующими движениями. Но строящийся механизм не может выявиться перед сознанием в той же форме, как механизм уже построенный. Есть нечто, что глубоко отличает и ясно проявляет упроченные системы движений в организме. В особенности трудность изменить их порядок, думаем мы; а также преобразование последующих движений в движениях им предшествующих, преобразование, вследствие которого часть, виртуально, содержит целое, как случается, например, когда каждая нота заученной мелодии связана с следующей за ней и требует ее\*. Стало быть, если всякое обычное восприятие сопровождается своим организованным двигательным аккомпанементом, то чувство обычного распознавания коренится в сознании этой организации.

Сказанное сводится к тому, что мы обыкновенно употребляем в дело наше узнавание, прежде чем его мыслим. Наша повседневная жизнь протекает среди предметов, одно присутствие которых приглашает нас играть известную роль: в этом заключается их аспект привычности. Двигательных тенденций достаточно, чтобы дать нам чувство узнавания. Но к этому часто присоединяется и нечто другое.

В то время как под влиянием восприятий, все лучше и лучше анализируемых телом, налаживаются двигательные аппараты, наша прежняя психическая жизнь присутствует в нас: она переживает себя, — это мы постараемся доказать, — со всеми подробностями событий локализованных во времени. Непрестанно подавляемая сознанием практичного и полезного для данного момента, то есть, чувственно-двигательным

---

\* В одной из самых остроумных глав своей психологии (*Psychologie*, Paris, 1893, Т. I, стр. 242) Fouillée говорит, что чувство привычности состоит в значительной степени в уменьшении внутреннего толчка (*choc*) составляющего неожиданность.

равновесием нервной системы, связывающей восприятие с действием, эта память всегда ждет, чтоб образовалась щель между наличным впечатлением и сопутствующим движением, в которую она бы могла вдвинуть свои образы. Чтобы вернуться к прошлому и открыть там образ-воспоминание, — знакомый, локализованный, личный, который относился бы к настоящему, — необходимо усилие для освобождения от действия, к которому наше восприятие нас влечет: оно толкает нас к будущему, а нам надо отойти в прошлое. В этом смысле движение скорее устраняет образ. Тем не менее, в известном смысле, оно его подготавливает. Ибо, если совокупность всех наших прошлых образов и присутствует в нас, то надобно все же, чтобы представление, аналогичное данному восприятию, было *выбрано* из всех возможных представлений. Движения, выполненные или просто зарождающиеся, подготавливают этот выбор или, по крайней мере, ограничивают поле образов, где нам придется выбирать. По устройству нашей нервной системы мы существа, у которых впечатления продолжают в соответственные движения: если старые образы способны продолжаться в эти движения, они пользуются случаем, чтоб проскользнуть в актуальное восприятие и быть принятыми им. Они тогда появляются в нашем сознании *de facto*, тогда как они должны бы были, *de jure*, оставаться покрытыми настоящим состоянием. Можно было бы сказать, значит, что движения, вызывающие машинальное узнавание, с одной стороны препятствуют, а с другой помогают узнаванию при помощи образов. В принципе, настоящее смещает прошедшее. Но, с другой стороны, именно потому, что уничтожение старых образов зависит от их задержки данным положением тела, те образы, форма которых соответствует этому положению, встретят меньше препятствия, чем остальные: а тогда, если есть образ, могущий преодолеть препятствие,

то это будет образ, схожий с данным восприятием.

Если наш анализ верен, то болезни узнавания можно будет разделить на две глубоко отличные друг от друга группы, и получится два вида психической слепоты. В некоторых случаях старых образов нельзя будет вызвать, в других — будет порвана связь между восприятием и привычными сопутствующими движениями, восприятие будет вызывать движения неопределенные, как если бы оно было новое. Подтверждают ли факты эту гипотезу?

Относительно первого пункта не может быть возражений. Кажущееся исчезновение зрительных воспоминаний при психической слепоте факт до того обычный, что он некоторое время служил определением этой болезни. Мы должны спросить себя, до какой степени и в каком смысле воспоминания могут действительно исчезать? В данный момент нас занимает то обстоятельство, что бывают случаи, когда, при отсутствии узнавания, зрительная память практически не уничтожена. Имеем ли мы в таких случаях, как мы предполагаем, дело с простым расстройством двигательных привычек или, по крайней мере, с нарушением связи, соединяющей их с чувствительными восприятиями? Ни один исследователь не задался этим вопросом, и было бы очень трудно ответить на него, если бы нам не удалось отметить в наблюдениях этих авторов некоторые факты, которые кажутся нам знаменательными.

Первым из этих фактов будет потеря чувства ориентировки. Все авторы, писавшие о психической слепоте, обратили внимание на эту особенность. Пациент Лиссауэра совершенно утерял способность ориентироваться в своем собственном доме\*. Мюль-

---

\* Цитир. ст., *Arch. f. Psychiatrie*, 1889—90, стр. 224. См. Wilbrand. *Op. cit.* стр. 140 и Bernhardt. *Eigenthümlicher Fall von Hirnerkrankung* (*Berliner Klinische Wochenschrift*, 1877, стр. 581).

лер настаивает на том факте, что слепые очень быстро научаются находить дорогу, между тем как субъект, пораженный психической слепотой, после месяцев упражнения не может ориентироваться в своей собственной комнате\*. Но не есть ли способность ориентироваться только способность координировать движения тела согласно зрительным впечатлениям и машинально продолжать восприятия в полезные реакции?

Есть и второй факт, еще более характерный. Мы имеем в виду способ рисования этих больных. Можно представить себе две манеры рисовать. Первая состоит в том, что намечают на бумаге наугад несколько точек и соединяют их между собою, ежеминутно проверяя похож ли рисунок на предмет. Это можно было бы назвать рисованием «по точкам». Но обыкновенно мы пользуемся совершенно иным способом. Мы рисуем «непрерывной чертой», посмотрев на модель или думая о ней. Чем объяснить такую способность, если не привычкой сразу улавливать *организацию* наиболее обычных контуров, то есть двигательным стремлением изображать сразу ее схему? Но если именно эти привычки, или соответствия этого рода, уничтожаются в некоторых формах психической слепоты, то больной будет еще способен, может быть, проводить части линии, которые он соединит кое-как между собою, но он уже не будет уметь рисовать непрерывной линией, у него в руке уже не будет движения контуров. Это именно и подтверждается опытом. Наблюдение Лиссауэра очень поучительно в этом отношении\*\*. Его больной с величайшим трудом рисовал самые простые предметы, а когда он хотел рисовать их по памяти, он рисовал отдельные части то тут, то там, и не мог соединять их между собою. Случаи полной психичес-

\* Цитир. ст., *Arch. f. Psychiatrie*, t. XXIV, стр. 898.

\*\* Цитир. ст., *Arch. f. Psychiatrie*, 1889—90, стр. 233.

кой слепоты редки. Гораздо многочисленнее случаи словесной слепоты, то есть потери зрительного распознавания только букв алфавита. В таких случаях постоянно наблюдается неспособность больного схватить то, что можно было бы назвать *движением* букв, когда он старается их списывать. Он начинает их рисунок с какой попало точки, ежеминутно проверяя верность своего рисунка с моделью. Это тем более замечательно, что часто больной сохраняет способность писать под диктовку или самопроизвольно. В этом случае, стало быть, уничтожена привычка схватывать сочленения видимого предмета, то есть способность дополнять зрительное восприятие двигательным стремлением, рисовать его схему. Из этого можно заключить, как мы уже сказали, что в этом и заключается изначальное условие узнавания.

Но теперь мы должны перейти от автоматического узнавания, которое совершается преимущественно с помощью движений, к узнаванию, требующему регулярного участия воспоминаний-образов. Первое есть узнавание рассеянное, второе, как мы увидим, узнавание внимательное.

Оно также начинается движениями. Но тогда как при автоматическом узнавании наши движения продолжают наше восприятие, чтобы достигнуть полезного результата, и *удаляют* нас от воспринятого предмета, в данном случае, они, наоборот, *вновь приводят* нас к предмету, чтобы подчеркнуть его контуры. Отсюда вытекает преобладающая, а уже не второстепенная роль, которую играют здесь воспоминания-образы. Представим себе в самом деле, что движения отказываются от своей практической цели и что двигательная деятельность вместо того, чтобы продолжать восприятие полезными реакциями, возвращается, чтобы вырисовать выдающиеся черты этого восприятия: тогда образы, аналогичные наличному восприятию, образы, форму которых эти движения уже наметили правильно, а не случайно, только

вольются в эту форму, правда, теряя при этом многие подробности для облегчения себе входа.

III. *Постепенный переход воспоминаний в движения. Узнавание и внимание.* Здесь мы касаемся основного пункта вопроса. В тех случаях, когда узнавание сопровождается вниманием, то есть когда воспоминания-образы правильно присоединяются к наличному восприятию, спрашивается, восприятие ли механически определяет появление воспоминаний или воспоминания самопроизвольно идут навстречу восприятию?

В зависимости от ответа на этот вопрос определится природа отношений между мозгом и памятью. В самом деле, во всяком восприятии есть импульс, передаваемый нервами воспринимающим центрам. Если бы распространение этого движения на другие корковые центры имело результатом появление там образов, то можно было бы, пожалуй, утверждать, что память есть не что иное, как функция мозга. Но если мы установим, что здесь, как и всюду, движение может производить только движение, что роль перцептивного импульса заключается просто в том, чтобы придать телу известное положение, в котором и запечатлеваются воспоминания, тогда, принимая во внимание, что весь эффект материальных колебаний расходуется на эту работу двигательного приспособления, приходится искать основу воспоминания не здесь. При первой гипотезе, расстройства памяти, причиненные мозговым поражением, происходят от того, что воспоминания локализовались в пораженной области и разрушены вместе с нею. При второй гипотезе, наоборот, эти поражения касаются только нашего зарождающегося или возможного действия. Они то препятствуют телу принять по отношению к предмету положение, способное вызвать образ, то разрывают связь этого воспоминания с данной действительностью, то есть, уничтожая последний фазис реализации воспоминания, уничтожая фазис действия, они тем самым препятствуют актуализации воспоминания.

Но ни в том, ни другом случае мозговое поражение не разрушило бы воспоминаний.

Мы принимаем вторую гипотезу. Но прежде чем искать ее подтверждения, изложим кратко, как мы представляем себе общие соотношения восприятия, внимания и памяти. Чтобы показать, как воспоминание мало-помалу может запечатлеться в положении или в движении, нам придется забежать вперед и коснуться заключений следующей главы этой книги.

Что такое внимание? С одной стороны, существенным результатом внимания является большая интенсивность восприятия и выделение подробностей: следовательно, со стороны содержания оно сводится к известной прибыли умственного состояния\*. Но, с другой стороны, сознание открывает неустранимое различие формы между этим увеличением интенсивности и тем усилением ее, которое зависит от большей силы внешнего раздражения: кажется, что она исходит изнутри и зависит от известного настроения ума. Но именно здесь и начинается темнота, потому что идея настроения интеллекта не есть ясная идея. Тут говорят о «концентрации духа»\*\* или об «апперцептивном»\*\*\* усилии, чтобы подвести восприятие под особое наблюдение интеллекта. Иные, материализуя эту идею, предполагают особое напряжение мозговой энергии\*\*\*\* или даже центральный

\* Marillier. *Remarques sur le mécanisme de l'attention* (*Revue Philosophique*, 1889, т. XXVII). — См. Ward статья *Psychologie* в *Encyclop. Britannica*, и Bradley. *Is there a special activity of Attention?* (*Mind*, 1886, т. XI, стр. 305).

\*\* Hamilton. *Lectures on Metaphysics*. т. I стр. 247

\*\*\* Wundt. *Psychologie physiologique*. т. II, стр. 231 и след. (изд. F. Alcan).

\*\*\*\* Maudsley. *Physiologie de l'esprit*, ст. 300 и след. — См. Bastian. *Les processus nerveux dans l'attention* (*Revue Philosophique*, т. XXXIII, стр. 360 и след.).

расход энергии, присоединяющийся к полученному раздражению \*. Но здесь либо ограничиваются переводом факта психологического наблюдения на физиологический язык, который кажется нам еще менее ясным, либо возвращаются к метафоре.

В конце концов придется определить внимание как общее приспособление скорее тела, чем духа, и видеть в таком настроении сознания прежде всего сознание известного настроения. На эту точку зрения стал Рибо \*\*, и хотя она оспаривалась \*\*\*, но, по-видимому, сохранила свое значение, конечно, при условии, думаем мы, если в движениях, описанных Рибо, видеть только отрицательное условие явления. Предположив в самом деле, что движения, сопровождающие волевое внимание суть преимущественно движения задерживающие, остается объяснить работу духа, им соответствующую, т. е. таинственный процесс, которым тот же орган, воспринимая в той же обстановке тот же предмет, открывает в нем больше вещей. Но можно пойти дальше и утверждать, что явления задержки суть только приготовления к действительным движениям волевого внимания. В самом деле допустим, как мы уже указывали, что внимание предполагает возвращение ума назад и отказ его от полезных последствий наличного восприятия: прежде всего наступит подавление движения, задерживающее действие. К этому общему положению вскоре присоединятся более тонкие движения, из которых некоторые были замечены и описаны \*\*\*\*. Роль их состоит в том, чтобы проследить вновь контуры видимого предмета. Этими

---

\* W. James. *Principles of Psychology*. vol. I, стр. 441.

\*\* *Psychologie de l'attention*. Paris, 1889, (изд. F. Alcan).

\*\*\* Marillier, цитир. ст. См. J. Sully. The psychophysical process in Attention. (*Brain*, 1890, стр. 154.)

\*\*\*\* N. Lange. *Beitr. zur Theorie der sinnlichen Aufmerksamkeit* (*Philos. Studien Wundt'a* т. VII, стр. 390—422).

движениями начинается положительная, а не только отрицательная работа внимания. Она продолжается воспоминаниями.

В самом деле, если внешнее восприятие вызывает с нашей стороны движения, вырисовывающие ее главные линии, то память наша направляет на полученное восприятие старые образы, на нее похожие, набросок которых был уже начертан нашими движениями. Таким путем она наново создает наличное восприятие или, скорее, удваивает это восприятие, отсылая к нему то ее собственный образ, то образ-воспоминание того же рода. Если удержанный или восстановленный в памяти образ не покрывает всех подробностей воспринятого образа, то посылаются призыв более глубоким и отдаленным областям памяти, пока и другие известные уже подробности не покроют собою подробностей неизвестных. Такой процесс может продолжаться без конца: память укрепляет и обогащает восприятие, которое, в свою очередь, развиваясь все более и более, притягивает к себе все большее число дополнительных воспоминаний. Оставим же мысль о духе, располагающем каким-то определенным количеством света, который он то рассеивает вокруг, то сосредоточивает на одной точке. Если надо прибегнуть к сравнению, мы предпочитаем сравнить элементарную работу внимания с работой телеграфиста, который, получив важную депешу, телеграфирует ее дословно обратно для проверки ее содержания.

Но чтоб отослать обратно депешу, надо уметь обращаться с аппаратом. Точно так же, чтобы отразить на восприятие образ, который мы от него получили, надобно, чтоб мы могли его воспроизвести, то есть, воссоздать его усилием синтеза. Говорили, что внимание есть способность аналитическая, и были правы; но при этом недостаточно объяснили ни то, как возможен анализ этого рода, ни то, каким процессом

мы доходим до открытия в восприятии того, что в нем сначала не обнаруживалось. Дело в том, что анализ этот совершается рядом попыток к синтезу или, что сводится к тому же, рядом гипотез: наша память по очереди выбирает различные сходные образы, которые она шлет в направлении нового восприятия. Не делается выбор этот не случайно. Гипотезы внушаются, выбор издали направляется подражательными движениями, в которых продолжается восприятие, и они служат общей рамкой и для восприятия и для вспомняемых образов.

Но тогда надобно представить себе механизм отдельного восприятия иначе, чем это обыкновенно делают. Восприятие состоит не только из впечатлений, полученных или выработанных умом. Это можно разве сказать только о тех восприятиях, которые рассеиваются немедленно после получения их и которые тотчас истекают в полезные действия. Но всякое внимательное восприятие предполагает *отражение* в этимологическом смысле этого слова, то есть наружное проецирование активно созданного образа, тождественного или подобного предмету и который точно копирует его контуры. Когда, пристально посмотрев на предмет, мы внезапно сводим с него взор, мы получаем вторичный образ его: не должны ли мы предположить, что образ этот уже образовывался пока мы глядели на предмет? Недавнее открытие центробежных воспринимающих волокон позволяет нам думать, что дело именно так и обстоит и что рядом с приводящим процессом, несущим впечатление к центру, есть другой, ему противоположный, которым образ снова возвращается к периферии. Правда, здесь дело идет об образах, сфотографированных с самого предмета, и о воспоминаниях, немедленно следующих за восприятием, составляющих как бы его эхо. Но позади этих образов, тождественных с предметом, есть другие, накопленные в памяти, которые просто

похожи на него, наконец, другие, имеющие с ним более или менее отдаленное родство. Все они идут навстречу восприятию и, напитанные его субстанцией, приобретают достаточную силу и жизнь, чтобы экстериоризироваться вместе с ним. Опыты Münsterberg'a\* и Külpe\*\* не оставляют в этом последнем пункте никакого сомнения: всякий образ-воспоминание, способный пояснить наше наличное восприятие, вкрадывается в него так, что мы не можем уже различить, где восприятие и где воспоминание. Но в этом отношении особенно интересны остроумные опыты Goldscheider'a и Müller'a над механизмом чтения\*\*\*. В противоположность Grashey, утверждавшему в знаменитой работе\*\*\*\*, что мы читаем слова букву за буквой, эти исследователи установили, что беглое чтение есть работа настоящего отгадывания; наш ум схватывает тут и там характерные черты и заполняет промежутки образами-воспоминаниями, которые, отбрасываясь на бумагу, заменяют действительно напечатанные буквы, дают нам иллюзию их. Так мы беспрерывно творим и перестраиваем. Наше восприятие можно сравнить с замкнутым кругом, где образ-восприятие, направленное к уму, и образ-воспоминание, отброшенное в пространство, гонятся друг за другом.

Остановимся на этом последнем пункте. Внимательные восприятия часто представляют себе как ряд процессов, идущих по длинной и единственной нити; предмет возбуждает ощущения, ощущения вызывают идеи, каждая идея приводит в действие одну за

\* *Beitr. zur experimentellen Psychologie*, Heft 4, стр. 15 и след.

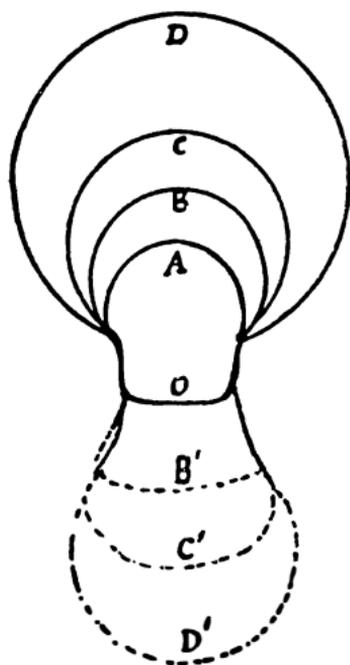
\*\* *Grundriss der Psychologie*, Leipzig, 1893, стр. 185.

\*\*\* *Zur Physiologie und Pathologie des Lesens (Zeitschr. f. Klinische Medicin, 1893)*. См. Mc Keen Cattell, *Ueber die Zeit der Erkennung von Schriftzeichen (Philos. Studien, 1885—86)*.

\*\*\*\* *Ueber Aphasie und ihre Beziehungen zur Wahrnehmung (Arch. f. Psychiatrie, 1885, t. XVI)*.

другой более отдаленные точки умственной массы. Тут существует, стало быть, как бы ход по прямой линии, по которой ум все удаляется от предмета, чтобы более к нему не возвращаться. Мы же думаем, наоборот, что отраженное восприятие есть цепь, где все элементы, включая и воспринятый предмет, находятся в состоянии взаимного напряжения, как в электрической цепи, так что каждое сотрясение, исходящее от предмета, не может остановиться на пути в глубине духа: оно должно возвратиться к самому предмету. Не надо думать, что здесь вопрос в словах. Дело идет о двух радикально различных концепциях умственной работы. Согласно первой, все происходит механически и при помощи совершенно случайного ряда последовательных сложений. Так, например, во всякий момент внимательного восприятия элементы новые, исходящие из более глубоких областей духа, могут присоединиться к старым элементам, не вызывая общей пертурбации, не требуя видоизменения системы. Согласно второй, наоборот, акт внимания предполагает такую солидарность между умом и его объектом, это столь прочно замкнутая цепь, что невозможно перейти к состояниям высшей концентрации, не создавая новых цепей, охватывающих первую, и между которыми нет ничего общего, кроме воспринятого объекта. Из этих различных кругов памяти, которые мы изучим ниже, наиболее узкий А находится ближе всего к непосредственному восприятию. Он содержит в себе только самый предмет О и вторичный образ, который покрывает предмет. За ним стоящие круги В, С, D, все более широкие, соответствуют возрастающим усилиям умственного растяжения. Как мы увидим ниже, целое памяти входит в каждую из этих цепей, потому что память всегда налицо; но память эта, могущая растягиваться до бесконечности, так она эластична, отражает на предмет увеличивающееся число внушенных вещей, то подробности са-

мого предмета, то сопутствующие подробности, его уясняющие. Таким путем, восстановив воспринятый предмет, как какое-то независимое целое, мы восстанавливаем вместе с ним последовательно все более отдаленные условия, с которыми он образует систему. Назовем В', С', D', эти все углубляющиеся причины, находящиеся за предметом, и вместе с ним виртуально данные. Из этого видно, что усиление внимания имеет последствием создание наново не только увиденного предмета, но и все более обширных систем, с которыми он может быть связан; так что по мере того как круги В, С, D представляют более высокое растяжение памяти, их отражение достигает в В', С', D' наиболее глубоких слоев действительности.



Одна и та же психическая жизнь повторяется, стало быть, бесконечное число раз в последовательных слоях памяти, и один и тот же акт духа может разыгрываться на очень различных высотах. При усилии внимания, дух всегда дает себя всецело, но упрощается или осложняется, смотря по уровню им выбираемому для своих проявлений. Обыкновенно наличное восприятие на-

правляет наш дух; но смотря по степени напряжения, принимаемого нашим духом, смотря по высоте, на которую он становится, это восприятие развивает в нас большее или меньшее число воспоминаний образов.

Другими словами, личные воспоминания, точно локализованные, и ряд которых начертал бы все течение нашего прошлого существования, составляют в своем соединении последнюю, наиболее обширную оболочку нашей памяти. Преходящие по существу, они материализуются только случайно, когда они вызываются или точно определенным положением, нечаянно принятым нашим телом, или когда самая неопределенность положения тела дает простор их проявлению. Но этот предельный покров сжимается и повторяется в кругах внутренних и концентрических; эти круги, более узкие, носят те же воспоминания уменьшенные, удаленные от своей личной и оригинальной формы, все более и более способные при своей банальности подойти к наличному восприятию и определить его, как определяется род, вмещающий индивида. Настает момент, когда таким образом сокращенное воспоминание так тесно вкладывается в наличное восприятие, что уже нельзя сказать, где кончается восприятие, где начинается воспоминание. В этот самый момент представления памяти, вместо того чтобы появляться и исчезать по капризу, следуют за телесными движениями.

Но по мере того как воспоминания эти приближаются к движению, а тем самым к внешнему восприятию, действие памяти приобретает все большее практическое значение. Образы прошлого, воспроизведенные целиком, со всеми подробностями, включая их чувственную окраску, это — образы мечтания или сна: то, что мы называем действом, есть именно достижение такого сокращения или скорее обострения этой памяти, что она обращает только острый край своего лезвия к опыту, куда она проникает. Долю

автоматизма в вызове воспоминаний то не замечали, то преувеличивали, в сущности потому, что не отделяли здесь двигательный элемент от памяти. Думается, что мы получаем призыв к деятельности в тот самый момент, когда восприятие наше автоматически разложилось на раздражительные движения: тогда нам дается эскиз, и мы воспроизводим его подробности и его окраску, отбрасывая на него более или менее отдаленные воспоминания. Но обыкновенно на дело смотрят иначе. Иногда абсолютную автономию приписывают духу; за ним признают способность обращаться по произволу с присутствующими и отсутствующими вещами, и тогда становятся совершенно непонятными глубокие расстройства внимания и памяти, которые могут последовать за малейшим нарушением чувственно-двигательного равновесия. Иногда наоборот, процессы воображения обращают в ряд механических следствий данного восприятия; предполагают, что в силу необходимого и однородного прогресса объект вызывает ощущения, а ощущения идеи, которые к ним прицепляются; а так как нет основания, чтобы явление, сначала механическое, изменило затем свою природу, то принимают гипотезу, согласно которой в мозгу могут откладываться, дремать и пробуждаться умственные состояния. Как в том, так и в другом случае, не понимают настоящей функции тела, и не зная для чего именно нужно вмешательство механизма, не знают также, где остановить его после того, как к нему прибегли.

Но пора выйти из этих общих понятий. Нам надо рассмотреть, подтверждается или опровергается наша гипотеза известными фактами мозговых локализаций. Расстройства воображительной памяти, соответствующие местным поражениям мозговой коры, суть всегда болезни узнавания то зрительного или слухового вообще (психическая слепота или глухота), то узнавания слов (словесная слепота, словесная

глухота и т. д.). Таковы, стало быть, расстройства, которые мы должны исследовать.

Если наша гипотеза правильна, то эти поражения узнавания происходят вовсе не оттого, что воспоминания занимали пораженные области. Они должны зависеть от двух причин: иногда наше тело не может автоматически принимать, в присутствии пришедшего снаружи возбуждения, того определенного положения, через посредство которого произошел бы выбор между нашими воспоминаниями; иногда эти воспоминания не находят более в теле точки приложения, способа продолжиться в действие. В первом случае поражены механизмы, продолжающие полученное сотрясение в автоматическое движение: объект не будет в состоянии остановить внимания. Во втором случае будут поражены те особенные центры коркового слоя, которые *подготавливают* волевые движения, доставляя им необходимую чувственную предпосылку; их называют, правильно или неправильно, центрами воображения: субъект не будет способен сосредоточить внимания. Но как в том, так и другом случае будут поражены действительные движения или не будут подготавливаться движения, имеющие совершиться: разрушения воспоминаний не произойдет.

Патология подтверждает это. Она указывает нам два совершенно различных рода психической слепоты и глухоты, словесной слепоты и глухоты. В первой зрительные и слуховые воспоминания еще вызываются, но уже не могут прикладываться к соответственным восприятиям. Во второй самый вызов воспоминаний нарушен. Теперь спрашивается, относится ли поражение к чувственно-двигательным механизмам автоматического внимания в первом случае и к воображательным механизмам волевого внимания во втором? Для проверки нашей гипотезы мы должны остановиться на определенном примере. Мы могли бы, конечно, показать, что зрительное узнава-

ние вещей вообще и слов в частности, предполагает сперва полуавтоматический двигательный процесс, затем действительную проекцию воспоминаний, которые внедряются в соответственные положения тела. Но мы предпочитаем остановиться на впечатлениях слуха и, в особенности, на слуховом восприятии членораздельной речи, потому что пример этот наиболее понятен из всех. В самом деле, слышать речь — это, прежде всего, узнавать звук, затем открывать его смысл, и наконец более или менее углубиться в его объяснение: короче — это проходит все градации внимания и приводит в действие многие последовательные степени памяти. Более того, расстройства слуховой памяти слов наиболее часты и лучше всего изучены. Наконец, уничтожение словесных слуховых образов всегда сопровождается серьезными поражениями определенных извилин коркового слоя: нам дается, стало быть, неоспоримый пример локализации, и мы можем спросить себя, способен ли действительно мозг накапливать воспоминания. Мы должны, стало быть, показать в слуховом распознавании слов: 1 — автоматический чувственно-двигательный процесс; 2 — активную, так сказать, эксцентрическую проекцию воспоминаний-образов.

1. Я слушаю, как два человека разговаривают на неизвестном языке. Довольно ли этого, чтоб я их понимал? Колебания до меня доходящие те же, что действуют и на их ухо. Между тем, я воспринимаю только смутный шум, где все звуки сходны. Я ничего не различаю и не мог бы ничего повторить. Наоборот, в той же звуковой массе оба собеседника отличают согласные, гласные и слоги, которые между собою не сходны, наконец отдельные слова. В чем разница между ними и мною?

Вопрос в том, чтобы понять, как знание языка, которое есть не что иное, как воспоминание, может изменить содержание наличного восприятия и заставить

одних действительно слышать то, чего другие не слышат при тех же физических условиях. Предполагают, правда, что слуховые воспоминания слов, накопленные в памяти, отвечают здесь на призыв звуковых впечатлений и усиливают их влияние. Но если разговор, мною слышанный, для меня простой шум, можно предполагать звукусиленным во сколько угодно раз, шум, сделавшись громче, не станет яснее. Чтобы воспоминание слова могло быть вызвано услышанным словом, надобно, по крайней мере, чтобы ухо слышало слово. Как воспринятые звуки достигнут памяти, как выберут они в запасе слуховых образов те, которые должны наложиться на них, если они не были разделены, различены, наконец восприняты как слоги и как слова?

Это затруднение, по-видимому, не достаточно поражало теоретиков сенсоральной афазии. В самом деле, при словесной глухоте больной относительно своего языка находится в том же положении, в котором мы находимся, слушая, как говорят на неизвестном языке. Обыкновенно, он сохраняет слух, но он не понимает произносимых слов и часто даже не может их различить. Для объяснения этого состояния, считают достаточным указать, что слуховые воспоминания слов разрушены в корковом слое или что поражения, то корковые, то подкорковые, препятствуют слуховому воспоминанию вызвать идею или восприятию соединиться с воспоминанием. Но, по крайней мере, для последнего случая психологический вопрос остается во всей силе: какой сознательный процесс уничтожается этим поражением? Посредством чего совершается вообще различение слов и слогов, данных уху сперва в виде звуковой непрерывности? Имей мы действительно дело только со слуховыми впечатлениями с одной стороны и со слуховыми воспоминаниями с другой, трудность вопроса была бы непреодолима. Но дело представляется иначе, если слуховые впечатления организуют за-

рождающиеся движения, способные скандировать слушаемую фразу и отмечать главные членораздельности. Эти автоматические движения, внутренне сопровождающие звуки, сперва смутные и плохо координированные, повторяясь, выделялись бы все более и более; в конце концов они вырисовали бы упрощенную фигуру, где слушающее лицо нашло бы в основных чертах и главных направлениях движения говорящего лица. Таким образом, в нашем сознании развертывалось бы в виде зарождающихся мышечных ощущений то, что мы назовем *двигательной схемой* слышанной речи. Приспособление своего уха к элементам нового языка заключается не в том, чтобы изменить сырой звук, и не в том, чтоб присоединить к нему воспоминание, а в том, чтоб координировать двигательные усилия мускулов голоса с впечатлениями уха, усовершенствовать сопровождающие звук движения.

Чтобы научиться физическому упражнению, мы начинаем с подражания движению в его целом, как нам его показывает глаз, так, как оно нам представилось. Восприятие наше было неопределенно: неопределенно будет и движение, пытающееся его повторить. Но тогда как наше зрительное восприятие давало нам *непрерывное* целое, движение, которым мы стараемся воспроизвести его образ, состоит из множества мышечных сокращений и напряжений; и само сознание его включает в себе множественные ощущения, происходящие от разнообразных действий в сочленениях. Неопределенное движение, подражающее образу, есть уже, стало быть, его виртуальное разложение; оно, так сказать, несет в себе возможность самоанализа. Совершенствование от повторения и упражнения будет состоять просто в освобождении того, что было сперва запутано, в том, чтоб придать каждому из элементарных движений *автономию* — условие его точности, сохраняя его солидарность с другими движе-

ниями, без чего оно было бы бесполезно. Справедливо говорят, что привычка приобретается повторением усилия; но к чему служило бы повторное усилие, если бы оно производило всегда одно и то же? Настоящая цель повторения сперва разложить, затем *воссоединить* и таким путем обращаться к разуму тела. При каждой новой попытке оно выявляет скрытые движения; оно каждый раз призывает внимание тела к новой подробности, им еще не замеченной; оно заставляет его разделять и классифицировать; оно подчеркивает ему существенное; в целом движения оно последовательно открывает линии, определяющие его внутреннее строение. В этом смысле движение изучено, как только тело его поняло.

Таким образом, двигательный аккомпанемент слышимой речи может прерывать непрерывность звуковой массы. Остается определить, в чем он заключается. Есть ли это сама речь, внутренне воспроизведенная? Но в таком случае ребенок мог бы повторить все слова, различаемые его ухом; и нам самим стоило бы лишь понимать иностранный язык, чтобы говорить на нем с совершенно правильным акцентом. Вещи совершаются далеко не так просто. Я могу схватить мелодию, следовать за ее рисунком, даже запечатлеть ее в памяти и не быть в состоянии ее спеть. Я легко различаю особенности произношения и интонации англичанина, говорящего по-немецки — стало быть внутренне я его поправляю. Из этого не следует, что я придам верное произношение и интонацию этой немецкой фразе, если сам ее скажу. Клинические факты подтверждают, в этом случае, повседневное наблюдение. Можно следить за речью и понимать ее, сделавшись неспособным говорить. Двигательная афазия не влечет за собою словесной глухоты.

Дело в том, что схема, при помощи которой мы скандируем слышимую речь, отмечает только ее выдающиеся контуры. Для речи это то же, что набросок для

законченной картины. Понять трудное движение и быть в состоянии его выполнить — это две разные вещи. Чтоб понять, достаточно уловить основное равно настолько, чтоб отличить его от других возможных движений. Но чтобы уметь его выполнить, надобно, кроме того, заставить свое тело его понять. А логика тела не признает намеков. Она требует, чтобы все составные части данного движения были показаны одно за другим и затем соединены вместе. Здесь требуется полный анализ, в котором не допускается пропуска ни одной подробности, а затем *действительный* синтез, где нет сокращений. Схема воображения, составленная из нескольких зарождающихся мышечных ощущениях, была простым наброском. Мышечные ощущения, действительно и полностью испытанные, придают ему краску и жизнь.

Остается узнать, как такой аккомпанемент может произойти и всегда ли он на самом деле происходит. Известно, что произношение слова вслух требует одновременного вмешательства языка и губ для членораздельности, гортани для тона и, наконец, грудных мышц для образования тока выдыхаемого воздуха. Каждому произнесенному слогу соответствует, стало быть, действие совокупности механизмов, находящихся в центрах спинного и продолговатого мозга. Эти механизмы соединены с высшими центрами коркового слоя продолжениями осевых цилиндров пирамидальных клеток психомоторной области; волевой импульс идет по этим путям. Таким образом, когда мы хотим выговорить тот или иной звук, мы передаем приказы действовать тому или другому из этих двигательных механизмов. Но если эти готовые механизмы, отвечающие различным возможным движениям членораздельности и тона, связаны с причинами, — каковы бы они ни были, — их производящими в волевой речи, то с другой стороны существуют факты несомненно доказывающие связь этих же механизмов

со слуховым восприятием слов. Среди многочисленных форм афазии, описанных клиницистами, есть две формы (4-я и 6-я форма Lichtheim'a), которые, по-видимому, предполагают такое соотношение. Так в одном случае Lichtheim'a, больной вследствие падения утратил память членораздельности слов и, следовательно, способность говорить самопроизвольно, но он чрезвычайно точно повторял, что ему говорили\*. С другой стороны, в случаях, где самопроизвольная речь не повреждена, но, где есть абсолютная словесная глухота и больной не понимает ничего, что ему говорят, способность повторять чужую речь все же может быть сохранена всецело.\*\* Можно ли сказать с Bastian'ом, что явления эти свидетельствуют просто о лености членораздельной или слуховой памяти слов, причем звуковые впечатления служат только для пробуждения памяти от оцепенения?\*\*\* Эта гипотеза, о которой мы будем говорить в свое время, не объясняет, на наш взгляд, интересных явлений эхолалии, давно указанных Romberg'ом,\*\*\*\* Voisin'ом,\*\*\*\*\* Winslow,\*\*\*\*\* и которые Kussmaul назвал, конечно несколько преувеличенно, звуковыми рефлексамии.\*\*\*\*\* В этих случаях пациент повторяет маши-

\* Lichtheim. *On Aphasia (Brain, янв. 1885, стр. 447).*

\*\* Ibid., стр. 454.

\*\*\* Bastian. *On different Kinds of Aphasia (British Medical journal, окт. и нояб. 1887. стр. 935).*

\*\*\*\* Romberg. *Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 1853, t. II.*

\*\*\*\*\* Цитировано Bateman'ом. *On Aphasia. London, 1890, стр. 79.* — См. Marcé. *Mémoire sur quelques observations de physiologiepathologique (Mém. de la Soc. de Biologie, 2-e serie, t. III, стр. 102).*

\*\*\*\*\* Winslow. *On obscure diseases of the Brain. London, 1861, стр. 505.*

\*\*\*\*\* Kussmaul. *Les troubles dela parole. Paris, 1884, стр. 69 и след.*

нально и, может быть, бессознательно, слышанные слова, как будто слуховые ощущения сами собою превращаются в движения членораздельной речи. Исходя из этого, некоторые исследователи предположили особый механизм, соединяющий звуковой центр слов с центром членораздельной речи.\* Правда, по-видимому, находится между этими двумя гипотезами: в явлениях этих есть нечто большее, чем только механические акты, но меньшее, чем призыв к волевой памяти; они свидетельствуют о *стремлении* словесно-слуховых впечатлений продолжаться в движения членораздельности, стремление, которое, конечно, не ускользает от привычного контроля нашей воли, которое, может быть, предполагает и зачаточное различие и сказывается в нормальном состоянии внутренним повторением выдающихся черт слышимой речи. Но именно такова наша двигательная схема.

Углубляя эту гипотезу, в ней можно найти то психологическое объяснение некоторых форм словесной глухоты, о котором мы говорили. Известны случаи словесной глухоты с полным сохранением звуковых воспоминаний. Больной целиком сохранил слуховую память слов и слух; между тем он не узнает ни одного слова, которое при нем произносится.\*\* Здесь предполагают подкорковое поражение, которое мешает звуковым впечатлениям находить словесно-слуховые образы в центрах коркового слоя, где они отложились. Но прежде всего вопрос именно

---

\* Arnaud. *Contribution a l'étude clinique de la surdité verbale* (Arch. de Neurologie. 1886, стр. 192). — Spaner. *Ueber Asymbolie* (Arch. f. Psychiatrie. t. VI, стр. 507 и 624).

\*\* См. в особенности: P. Sérioux. *Suruncas de surdité erb ale pure* (Revue de Médecine, 1893, стр. 733 и след.); Lichtheim, цитир. статья, стр. 461; и Arnaud. *Contribution à l'étude de la Surdité Verbale* (2-я статья), Arch. de Neurologie 1886 стр. 366.

в том, может ли мозг накапливать образы, затем, если бы даже поражение проводящих путей восприятия и было констатировано, это не избавляло бы нас от необходимости искать психологическое объяснение явлению. В самом деле, согласно гипотезе, слуховые воспоминания могут быть призваны к сознанию; согласно гипотезе, слуховые впечатления доходят до сознания: стало быть, в самом сознании должен быть пробел, разрыв, что-то такое, что препятствует слиянию восприятия и воспоминания. Между тем все уясняется, если вспомнить, что слуховое восприятие в его первобытном состоянии есть восприятие непрерывного звука и что установленные привычкой чувственно-двигательные соединения должны при нормальных условиях разлагать его; поражение этих сознательных механизмов, препятствуя разложению, сразу остановило бы порыв воспоминаний, стремящихся приложиться к соответственным восприятиям. Стало быть, возможно, что поражение затрагивает эту «двигательную схему». Стоит пересмотреть случаи, довольно впрочем редкие, словесной глухоты с сохранением звуковых воспоминаний, чтобы отметить некоторые, весьма характерные в этом отношении, подробности. Adler указывает на тот замечательный факт, что при словесной глухоте больные более не реагируют даже на сильные шумы, сохраняя в то же время, очень большую тонкость слуха\*. Другими словами, звук не находит больше у них своего моторного эха. Один пациент Шарко, страдавший временно словесной глухотой, рассказывает, что он хорошо слышал бой своих часов, но не мог сосчитать ударов\*\*. Он, вероятно, не мог их разделять и различать. Другой больной заявляет, что он

---

\* Adler. *Beitrag zur Kenntniss der seitnerem Pormen von sensorischer Aphasie* (Neurol. Centralblatt, 1891, стр. 296 и 297.)

\*\* Bernard. *De l'Aphasie*. Paris, 1889, стр. 143.

слышит разговор, но как смутный шум.\* Наконец, субъект, потерявший способность понимать разговорную речь, снова получает эту способность, когда ему много раз повторяют слово, особенно, если его скандируют слог за слогом\*\*. Последний факт, констатированный во многих ясных случаях словесной глухоты с сохранением звуковых воспоминаний, особенно знаменателен.

Striecker\*\*\* ошибался, думая, что слышанная речь полностью повторяется внутри. Это опровергается уже тем простым фактом, что неизвестно ни одного случая моторной афазии, который вызвал бы словесную глухоту. Но все факты говорят в пользу существования двигательного стремления расчленять звуки, устанавливать их схему. Эта автоматическая тенденция не лишена, как мы уже сказали, некоторого зачатка умственной работы: иначе, как могли бы мы отождествлять между собой и, следовательно, сравнивать при помощи одной схемы одинаковые слова, сказанные в разных тонах и голосами различного тембра. Эти внутренние движения повторения и распознавания суть как бы прелюдия к волевому вниманию. Они обозначают границу между волей и автоматизмом. Ими приготавливаются и определяются, как мы уже отчасти указывали, явления характерные для умственного распознавания. Но что такое это полное распознавание, дошедшее до полного сознания самого себя?

2. Мы приступаем ко второй части этого исследо-

\* Balet. *Le langage intérieur*. Paris, 1888 г. стр. 85. (изд. Félix Alcan).

\*\* См. три случая приводимые Arnaud в *Archives de Neurologie*, 1866 стр. 366 и след. (*Contribution clinique à l'étude de la surdit  verbale* 2-я статья) — См. случай Schmltdt'a, *Geb rs — und Sprachst rung in Folge von Apoplexie* (Allg Zeitschr. f. Psychiatrie, 1871, t. XXVII, стр. 304).

\*\*\* Stricker. *Du langage et de la musique*. Paris, 1885.

вания: от движений мы переходим к воспоминаниям. Внимательное распознавание, сказали мы, — это настоящая цепь, где внешний предмет обнаруживает нам все более и более глубокие части самого себя, по мере того как память наша, симметрично расположенная, приходит в высшее напряжение, чтобы отражать на него свои воспоминания. В частном случае, нас занимающем, предмет — это собеседник, идеи которого распускаются у него в сознании в слуховые представления, чтоб потом материализоваться в произнесенных словах. Если мы правы, *то слушатель должен сразу поместиться среди соответственных идей*, чтобы развить их в слуховые представления, которые покроют воспринятые, так сказать, в сыром виде звуки, слагаясь в двигательную схему. Следить за вычислением значит самому его проделывать. Понимать чужую речь тоже значит осмысленно, то есть исходя из идей, восстановить непрерывность звуков, которые слышит ухо. И вообще можно сказать, что обращать внимание, осмысленно узнавать, объяснять-все это входит в один и тот же акт, которым дух, установив свой уровень, выбрав в самом себе, по отношению к восприятиям в первоначальном их виде, симметрическую точку их ближайшей причины, допускает к этим восприятиям воспоминания, которые их покроят.

Но обычно на дело смотрят иначе. Мы привыкли к ассоциационизму, и вследствие этого мы представляем себе, что звуки по соседству вызывают слуховые воспоминания, а слуховые воспоминания — идеи. Наряду с этим, мозговые поражения как будто влекут за собою исчезновение воспоминаний: в частности, в случае нас интересующем, можно сослаться на характерные поражения при словесной глухоте. Таким образом, психологическое наблюдение согласуется, по-видимому, с клиническими фактами; и можно принять существование в корковом слое дремлющих слуховых представлений, в форме, напр., физико-хи-

мических изменений клеток: их пробуждает пришедший извне импульс, и они вызывают идеи внутри-мозговым процессом, а может быть, черезкорковыми движениями, идущими навстречу дополнительным представлениям.

Над странными выводами гипотезы такого рода стоит призадуматься. Слуховой образ слова не есть предмет с совершенно установившимися очертаниями, потому что одно и то же слово, произнесенное разными голосами или тем же голосом на различных высотах, дает различные звуки. Стало быть, будет столько слуховых воспоминаний одного слова, сколько есть высот звука и тембров голоса. Собраны ли все эти образы в мозгу, или если мозг выбирает, то какому из них он отдает предпочтение? Предположим, однако, что он имеет основание выбрать один из них; каким образом это самое слово, сказанное другим лицом, соединится с воспоминанием, от которого оно отличается? Заметим, что воспоминание это, по гипотезе, вещь инертная и пассивная, следовательно, не способная схватывать под внешним различием внутреннее подобие. О слуховом образе слова говорят как о сущности или роде: без сомнения, этот род существует для деятельной памяти схематизирующей сходство сложных звуков, но для мозга, который только записывает и не может ничего иного записать, кроме материальности воспринятых звуков, будут тысячи отдельных образов одного слова, — сказанное новым голосом, оно дает новый образ, который просто-напросто присоединится к другим.

Но вот еще затруднение. Слово становится для нас индивидуальным только с того дня, когда наши учителя научают нас его абстрагировать. Мы научаемся сначала произносить не слова, а фразы. Слово всегда сцепляется с другими словами, его сопровождающими, и смотря по форме и движению фразы, необходимой частью которой оно является, оно принимает различ-

ные аспекты, — так каждая нота мелодии смутно отражает в себе всю мелодию. Допустим, что существуют образцы слуховых воспоминаний, заложенные в особых внутри мозговых приспособлениях и дожидаящиеся слуховых впечатлений: эти впечатления пройдут, но не будут узнаны. В самом деле, где общая мера, где точка соприкосновения между сухим инертным, разобщенным образом и живой действительностью слова органически связанного с фразой? Я прекрасно понимаю то начало автоматического распознавания, которое состояло бы, как сказано, в подчеркивании главных членов фразы, в усвоении ее движения. Но если не предположить, что все люди говорят тождественными голосами и произносят одинаковым тоном стереотипные фразы, то непонятно, как слышанные слова соединятся с своими образами в корковом слое.

К тому же, если действительно есть воспоминания, отложенные в клеточках мозговой коры, при сенсоральной афазии, например, должна бы получиться непоправимая утрата некоторых определенных слов при полном сохранении других. На деле это происходит иначе. Иногда все воспоминания исчезают целиком, так как умственный слух совершенно уничтожен, иногда мы присутствуем при общем ослаблении этой функции; но обыкновенно получается ослабление этой функции, а не уменьшение числа воспоминаний. Кажется будто больной не имеет более силы собрать свои слуховые воспоминания, что он вертится вокруг словесного образа и не может на нем остановиться. Для того чтобы он нашел слово, часто довольно навести его на настоящий путь, подсказать ему первый слог\* или просто поощрить его\*\*. Эмоция может произвести

---

\* Bernard, *op. cit.*, стр. 172 и 179. См. Babilée. *Los troubles de la mémoire dans l'alcoolisme*. Paris, 1886 (теза на докт. медицины), стр. 44.

\*\* Rieger. *Beschreibung der Intelligenzstörungen in Folge einer Hirnverletzung*. Würzburg, 1889, стр. 35).

то же действие<sup>\*</sup>. Тем не менее, есть случаи, где, по-видимому, определенные группы представлений изгладились из памяти. Мы рассмотрели большое число таких фактов и нам казалось, что их можно разделить на две совершенно отличные категории. В первой, потеря воспоминаний обыкновенно внезапна; во второй она прогрессивна. В первой из памяти исчезают случайные воспоминания, произвольно и даже *капризно* выбранные: некоторые слова, некоторые цифры, а часто даже все слова выученного языка. Во второй, слова исчезают в строгом и грамматическом порядке, и именно в порядке, указанном законом Ribot: прежде всего пропадают собственные имена, потом нарицательные и наконец глаголы<sup>\*\*</sup>. Таковы внешние различия. А теперь мы разберем, каково, думается нам, внутреннее различие. Мы думаем, что при амнезиях первого рода, почти всегда следующих за сильным потрясением, как будто уничтоженные воспоминания на самом деле не только присутствуют, но и действуют. Возьмем пример, который заимствуем у Winslow'a<sup>\*\*\*</sup>, пример больного, позабывшего букву Ф, только одну букву Ф, и спросим, можно ли отбросить одну определенную букву всюду, где она встречается, следовательно, отделить ее от произносимых или написанных слов, с которыми она слита, если буква эта сначала не была неясно узнана. В другом случае, указанном тем же автором<sup>\*\*\*\*</sup>, пациент позабыл языки, которые изучал, и стихотворения, им самим написанные. Когда он сно-

\* Wernicke. *Der aphasische Symptomencomplex*. Breslau, 1874, стр. 39. — См. Valentin. *Sur un cas d'aphasie d'origine traumatique* (*Rev. médicale de l'Est*, 1880, стр. 171).

\*\* Ribot. *Les maladies de la mémoire*. Paris, 1881, стр. 131 и след.

\*\*\* Winslow. *On obscure Diseases of the Brain*. London, 1861.

\*\*\*\* Winslow. *On obscure Diseases of the Brain*. London, 1861, стр. 372.

ва начал писать, он сочинял приблизительно те же самые стихи. К тому же, весьма часто в этих случаях наблюдается полное восстановление исчезнувших воспоминаний. Не желая слишком категорически высказываться по вопросу такого рода, мы все же не можем не видеть аналогии между этими явлениями и раздвоениями личности, описанными Р. Janet<sup>\*</sup>; некоторые из них поразительно похожи на «отрицательные галлюцинации» и на «внушения с точкой отправления», вызываемые гипнотизерами<sup>\*\*</sup>. Совсем не таковы афазии второго рода, настоящие афазии. Они зависят, как мы постараемся показать от прогрессивного ослабления хорошо локализованной функции, способности актуализировать воспоминание слов. Как объяснить, что здесь амнезия идет методически, начинается с имен собственных и кончается глаголами? Это было бы невозможно, если б словесные образы действительно отлагались в клетках коркового слоя; разве не странно, что болезнь всегда поражает клетки в известном порядке<sup>\*\*\*</sup>? Но факт уясняется, если принять вместе с нами, что воспоминания нуждаются для своего осуществления в двигательном помощнике и что для их вызова требуется особый умственный лад, в свою очередь

---

\* Pierre Janet. *Etat mental des hystériques*. Paris, 1894, II, стр. 263 и след. — См., того же автора, *L'automatisme psychologique*. Paris, 1889.

\*\* См. случай Grashey, вновь исследованный Sommer'ом, который этот последний считает необъяснимым при современном состоянии теорий афазии. В этом примере движения, выполняемые субъектом, совершенно походили на сигналы, обращенные к независимой памяти. (Sommer. *Zur Psychologie der Sprache*. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. der Sinnesorgane. t. II, 1891, стр. 143 и след. — См. сообщение Sommer'a на конгрессе немецких психиатров, Arch. de Neurologie, t. XXIV, 1892).

\*\*\* Wundt. *Psychologie physiologique*. T. I, стр. 239.

связанный с известным телесным положением. Тогда глаголы, выражающие вообще *подражательные действия*, и суть те слова, которые мы можем скорее всего найти телесным усилием, когда способность речи почти совсем ускользает; наоборот, собственные имена, из всех слов наиболее отдаленные от тех безличных действий, которые могут намечаться нашим телом, угадают прежде всего при ослаблении способности. Отметим тот странный факт, что афазик, совершенно неспособный найти нужное ему существительное, заменит его подходящей перифразой, куда войдут другие существительные\*, а иногда и само непокорное существительное: не будучи в состоянии мыслить точное слово, он мыслит соответствующее действие, и это положение определяет общее направление движения, из которого выходит фраза. Так случается, что, помня начальную букву позабытого имени, мы вспоминаем имя, повторно произнося инициал\*\*. Итак, в фактах второй группы поражается вся функция целиком, а в фактах первой группы забвеньё, с виду более резкое, на самом деле никогда не оказывается окончательным. Ни в том, ни в другом случае мы не находим воспоминаний, локализованных в определенных клетках мозгового вещества, которые уничтожились бы с разрушением этих клеток.

Но обратимся к нашему сознанию. Спросим его, что в нас происходит, когда мы слушаем чужую речь с намерением понять ее. Ждем ли мы пассивно, чтобы впечатления искали свои образы? Не чувствуем ли мы, скорее, что входим в известное настроение соответственно с собеседником, с языком, на котором он говорит, с

---

\* Bernard. *De l'Aphasie*. Paris, 1889, стр. 171 и 174.

\*\* Graves приводит случай, где больной позабыл все существительные, но помнил их начальные буквы и при их помощи находил все слова. (Цитирована Bernard'ом, *De l'Aphasie*, стр. 179).

родом идей, которые он высказывает, и особенно с общим движением фразы, как будто мы начинаем с установления тона нашей умственной работы? Двигательная схема, подчеркивая его интонации, следуя за изгибами его мысли, указывает путь нашей мысли. Она пустое вместилище, определяющее своей формой форму, куда устремляется и врывается текущая масса.

Такое объяснение механизма понимания будет принято не без колебания, вследствие непреодолимой тенденции нашей мысли, во всех случаях, скорее вещи, чем *прогрессивности*. Мы сказали, что мы исходим из идеи и развиваем ее в слуховые образы-воспоминания, способные внедриться в двигательную схему, чтобы покрыть слышанные звуки. Тут есть непрерывная прогрессивность, по которой туманность идеи сгущается в отдельные слуховые образы, — еще текучие, они затвердеют наконец при слитии со звуками материально воспринятыми. Ни в один момент нельзя сказать с точностью, что идея или образ-воспоминание кончается, что образ-воспоминание или ощущение начинается. И где в самом деле демаркационная линия между хаосом звуков, воспринятых в массе, и ясностью, влагаемой восстановленными в памяти слуховыми образами; между разъединенностью самих этих вспомняемых образов и непрерывностью первоначальной идеи, которую они разбивают и преломляют в отдельные слова? Но научная мысль, анализируя этот непрерывный ряд изменений и уступая непреодолимой потребности в символическом изображении, останавливает и уплотняет в законченных вещах главные фазисы этой эволюции. Услышанные звуки она превращает в отдельные и полные слова, затем вспомняемые слуховые образы — в сущности, независимые от идеи ими развиваемой. Так эти три части: голое восприятие, слуховой образ и идея — образуют отдельные целые, и каждое из них будет самостоятельно. Придерживаясь чистого опыта, следовало бы исходить из идеи, так как слухо-

вые воспоминания обязаны ей своим сцеплением, а звуки, в свою очередь, пополняются только воспоминаниями. А между тем не видят препятствия к тому, чтоб произвольно дополнять звук, так же произвольно скреплять вместе воспоминания, опрокидывать естественный порядок вещей, утверждать, что мы идем от восприятий к воспоминаниям и от воспоминаний к идее. Тем не менее, в той или иной форме, в тот или иной момент, придется восстановить нарушенную непрерывность этих трех частей. Тогда предположат, что они, помещаясь в отдельных долях продолговатого мозга и мозговой коры, находятся между собою в сообщении, что восприятия будят слуховые воспоминания, а воспоминания, в свою очередь, идеи. Закрепив главные фазисы развития в независимые части, само развитие стремятся выразить материально линиями сообщения или движениями импульса. Но нельзя безнаказанно перевернуть таким образом истинный порядок вещей и ввести в каждую часть серии элементы, осуществляющиеся только позднее. Нельзя безнаказанно также уплотнять в отдельные и независимые части непрерывность нераздельной прогрессивности. Этот способ представления будет, быть может, достаточным, пока применение его строго ограничивают фактами, послужившими ему точкой исхода; с каждым новым фактом приходится усложнять схему, вводить по пути движения новые остановки, причем приставлением этих остановок одна к другой никогда не удастся построить само движение.

В этом отношении нет ничего поучительнее истории «схем» сенсоральной афазии. В первом периоде, работ Charcot\*, Broadbent'a\*\*, Kusmaul'я\*\*\*, и

---

\* Bernard. *De l'Aphasie*, стр. 37.

\*\* Broadbent. *A case of peculiar affection of speech* (Brain, 1879, стр. 499).

\*\*\* Kusmaul. *Ses troubles de la parole*. Paris, 1884, стр. 234.

Lichtheim'a<sup>\*</sup>, придерживались гипотезы «центра идеации», связанного корковыми путями с различными центрами речи. Но при дальнейшем анализе этот центр идей исчез довольно быстро. В самом деле, в то время как физиология мозга все успешнее локализовала ощущения и движения, но никогда не локализовала идей, многообразие сенсоральных афазий принуждало клиницистов расчленять центр интеллектуальности на все большее число центров, на центры представлений зрительных, осязательных, слуховых и прочих, и даже приходилось иногда разделять на два различные пути — на восходящий и нисходящий, путь, якобы соединяющий их попарно<sup>\*\*</sup>. Такова была характерная черта схем следующего периода Wysman'a<sup>\*\*\*</sup>, Moeli<sup>\*\*\*\*</sup>, Freud'a<sup>\*\*\*\*\*</sup> и друг. Теория осложнялась все более, но не могла охватить сложности действительности. Далее, по мере того как схемы усложнялись, они изображали и заставляли предполагать возможность иных поражений, хотя, конечно, и более разнообразных, но зато более

---

\* Lichtheim. *On Aphasia (Brain, 1885)*. Надо заметить, что Wernicke, который первый систематически изучил сенсоральную афазию, обходился без центров концевых (*Deraphacische Symptomencomplet, Breslau, 1874*).

\*\* Bastian. *On different kinds of Aphasia (British Medical Journal, 1887)*. — См. объяснение (указанное лишь как возможное) оптической афазии Bernheim'ом: *De lacécité psychique des choses (Revue de Médecine, 1885)*.

\*\*\* Wysman. *Aphasie und verwandte Zustände (Deutsches Archiv für Klinische Medecin, 1890)*. — Magnan выступил уже на этот путь, о чем свидетельствует схема Скворцова, *De la céicité des mots (Диссертация, 1831)*.

\*\*\*\* Moeli. *Ueber Aphasie bei Wahrnehmung der Gegenstände durch das Gesicht (Berl. Klinische Wochenschrift, 28 апр. 1890)*.

\*\*\*\*\* Freud. *Zur Auffassung der Aphasien. Leipzig, 1891*.

специальных и простых, так как усложнение схемы именно зависело от диссоциации центров, сперва соединенных в один центр. Но опыт здесь далеко не подтверждал теории, ибо он почти всегда показывал, что многие из этих простых психологических поражений, которые теория отделяла одно от другого, почти всегда частично и разнообразно соединены вместе. Так сложность теорий афазии сама себя разрушала; удивительно ли, что современная патология, относясь все скептически к схемам, вернулась к простому описанию фактов? \*

Могло ли быть иначе? Слушая некоторых теоретиков сенсоральной афазии можно подумать, что они никогда не вглядывались в построение фразы. Они рассуждают, как будто фраза состоит из существительных, вызывающих образы вещей. Куда деваются те части речи, которые служат для установления между образами отношений и оттенков всякого рода? Скажут ли, что каждое из этих слов само по себе выражает и вызывает материальный образ, более смутный, без сомнения, но определенный? Пусть подумают о множестве различных отношений, которые выражаются одним и тем же словом, смотря по занимаемому им месту и потому, какие части оно соединяет! Скажете ли вы, что это тонкости уже очень усовершенствованного языка и что возможен язык из конкретных имен, предназначенных вызывать образы вещей? Это я готов признать; но чем примитивнее язык, на котором вы будете со мною говорить, и чем менее в нем терминов, выражающих отношения, тем большее место вы должны отвести деятельности моего ума, потому что вы заставляете его восстановить отношения, которых вы не выражаете: это значит, вы все более будете отступать от гипотезы, по которой всякий словесный

---

\* Sommer, сообщение на конгрессе психиатров. (*Arch. de Neurologie*, t. XXIV, 1892).

образ идет к своей идее. По-настоящему здесь всегда вопрос только в степени: грубый или утонченный язык всегда подразумевает более, чем может выразить. По существу прерывная, — так как она идет поставленными рядом словами, — речь только более или менее отмечает главные переходы мысли. Вот почему я пойму вашу речь, если буду исходить из мысли аналогичной вашей, и буду следить, за всеми ее изгибами, при помощи словесных образов, предназначенных, подобно придорожным столбам, указывать мне путь. Но я никогда не пойму ее, исходя из самих словесных образов, потому что между двумя последовательными словесными образами есть промежуток, который не может быть заполнен никакими конкретными представлениями. Образы всегда останутся только вещами, а мысль есть движение.

Стало быть, напрасно рассматривают образы-воспоминания и идеи как вещи готовые, которым затем отводят место в проблематических центрах. Можно сколько угодно замаскировывать гипотезу языком анатомии и физиологии, она все же останется простым применением теории ассоциации идей к объяснению жизни духа; за нее только постоянная тенденция дискурсивного ума разделять всякую эволюцию на *фазисы* и уплотнять затем эти фазисы в *вещи*; и так как она родилась *à priori*, из своего рода метафизического предрассудка, то она не в состоянии ни следовать за движением сознания, ни упрощать объяснение фактов.

Но мы должны проследить эту иллюзию до точки, где она впадает в очевидное противоречие. Идеи, сказали мы, чистые воспоминания, призванные из глубин памяти, развиваются в образы-воспоминания, все более и более способные внедриться в двигательную схему. По мере того как воспоминания эти принимают форму представления более полного, конкретного и сознательного, они стремятся слиться с восприятием, их притягивающим, или в рамки которого они вхо-

дят. Стало быть, в мозгу нет, и не может быть, области, где воспоминания застывают и накапливаются. Так называемое разрушение воспоминаний мозговыми поражениями есть только перерыв непрерывного хода, которым осуществляется воспоминание. Следовательно, если непременно хотят локализовать, например, слуховые воспоминания слов в определенной точке мозга, то будут вынуждены, по равно ценным соображениям, или отличать этот воображательный центр от воспринимающего центра, или сливать эти два центра в один. Именно это и проверяется опытом.

Отметим странное противоречие, к которому эта теория приводится с одной стороны психологическим анализом, с другой стороны патологическими фактами. С одной стороны оказывается, что осуществившееся восприятие может оставаться в мозгу в виде сохраненного воспоминания, только как особое, приобретенное расположение самих элементов, запечатленных восприятием: как же, в какой именно момент, станет это восприятие искать другие элементы? На этом естественном решении останавливаются Bain\* и Ribot\*\*. Но, с другой стороны, патология предупреждает нас, что совокупность воспоминаний известного рода может ускользать от нас, в то время как соответственная способность воспринимать остается нетронутой. При психической слепоте мы видим, при психической глухоте — слышим. В частности, что касается до потери слуховых воспоминаний слов, — только ею мы и занимаемся, — известны многочисленные факты, показывающие, что она обыкновенно связана с разрушением первой и второй левых височно-клиновидных извилин\*\*\*, при-

---

\* Bain. *Les sens et l'intelligence*, стр. 304. — См. Spencer. *Principes de Psychologie*. t. I, стр. 483.

\*\* Ribot. *Les maladies de la mémoire*. Paris, 1881, стр. 10.

\*\*\* Наиболее четкие случаи такого рода читатель найдет в ста-

чем неизвестно ни одного случая, чтобы поражение это вызвало настоящую глухоту: удалось даже произвести его экспериментально у обезьяны, не вызвав ничего иного, кроме психической глухоты, т. е. неспособности понимать смысл звуков, которые она продолжает слышать\*. Приходится, стало быть, признать за восприятием и за воспоминанием отдельные нервные элементы. Но против этой гипотезы говорит самое элементарное психологическое наблюдение, потому что мы знаем, что воспоминание, становясь более ярким и сильным, имеет склонность превращаться в восприятие, хотя нельзя определить точно момент, когда происходит это коренное превращение и когда, следовательно, можно было бы сказать, что оно перешло от воображительных нервных элементов на элементы чувственные. Таким образом, обе эти противоположные гипотезы: первая, отождествляющая элементы восприятия с элементами памяти, вторая, их различающая, — таковы, что каждая из них приводит к другой, и придерживаться нельзя ни той, ни этой.

И разве может быть иначе? И в том и в другом случае рассматривают отдельное восприятие и воспоминание-образ в статическом состоянии, как вещи, из которых первая уже завершена без второй; вместо того чтобы рассматривать динамический прогресс, чрез который первая делается второй.

В самом деле, завершенное восприятие определяется и отличается только при своем слитии с образом-воспоминанием, который мы посылаем ей навстречу.

---

ть Shaw, *The sensory side of Aphasia*. (*Brain* 1893, стр. 501). Многие авторы ограничивают характерное для потери слуховых словесных образов поражение первой извилиной. См. в особенности Ballet. *Le langage interieur*. стр. 153.

\* Luciani, цитир. у J. Soury. *Les Fonctions du Cerveau*. Paris, 1892, стр. 211.

Этой ценой получается внимание, а без внимания есть только пассивное сопоставление ощущений, сопровождаемых машинальной реакцией. С другой стороны, как мы покажем ниже, сам образ-воспоминание, сведенный на состояние чистого воспоминания, остался бы бездейственным. Будучи виртуальным, воспоминание это может сделаться актуальным, только когда его притягивает восприятие. Бессильное само по себе, оно заимствует жизнь и силу от наличного ощущения, в котором оно материализуется. Не значит ли это, что восприятие вызывается двумя противоположными токами, из которых один, центростремительный, исходит от внешнего предмета, а другой, центробежный, имеет точкой исхода то, что мы называем «чистым воспоминанием»? Первый ток, сам по себе, дал бы только пассивное восприятие, с сопровождающими ее машинальными реакциями. Второй, предоставленный самому себе, стремится дать актуализированное воспоминание, все более и более актуальное по мере усиления тока. Соединившись, эти два тока образуют в точке встречи ясное и узнанное восприятие.

Так говорит внутреннее наблюдение. Но мы не можем на этом остановиться. Очень опасно, конечно, погружаться, без достаточного знания, в область темных вопросов мозговых локализаций. Но мы сказали, что отделение полного восприятия от образа-воспоминания ставит клиническое наблюдение в конфликт с психологическим анализом и что из этого вытекает серьезная антиномия для доктрины локализации воспоминаний. Нам надлежит рассмотреть, что станется с известными фактами, если не смотреть на мозг, как на хранилище воспоминаний\*.

---

\* Теория, нами здесь намеченная, походит с одной стороны на теорию Wundt'a. Укажем теперь же на общий между ними пункт и на существенную разницу. Вместе с Wundt'ом мы считаем, что ясная перцепция предполагает

Примем временно, для упрощения изложения, что извне приходящие раздражения вызывают в корковом слое или в других центрах элементарные ощущения. Но это все же будут только элементарные ощущения. Между тем всякое восприятие охватывает значительное число этих ощущений, сосуществующих, расположенных в определенном порядке. Откуда этот порядок и что определяет это сосуществование? В том случае, когда материальный предмет налицо, ответ не подлежит сомнению: порядок и сосуществование зависят от органа чувств, получившего впечатление от внешнего предмета. Орган этот приспособлен к тому,

---

центробежное действие, и этим мы приходим к предположению, вместе с ним (хотя несколько в отличном от него смысле), что так называемые вообразительные центры являются скорее центрами группировки чувственных впечатлений. Но тогда как по Wundt'у центробежное действие состоит в «апперцептивной стимуляции», природа которой определяется лишь в общих чертах и которая, по-видимому, соответствует тому, что обыкновенно называется сосредоточиванием внимания, мы думаем, что это центробежное действие принимает в каждом случае особую форму, и именно форму «виртуального предмета», который постепенно стремится актуализироваться. Отсюда важное различие в понимании роли центров. Wundt приходит к принятию: 1) общего органа апперцепции, занимающего лобную долю, 2) особых центров, которые, будучи, без сомнения, неспособными накапливать образы, сохраняют все же стремление или расположение к их воспроизведению. Мы утверждаем, наоборот, что в мозговом веществе ничего не может оставаться от образа и что не может существовать центра апперцепции, но что в этом веществе просто есть органы виртуальной перцепции, на которые влияет напряжение воспоминания, как на периферии есть органы действительной перцепции, на которые влияет действие предмета. (См. *Psychologie physiologique*, t. I, стр. 242—252).

чтобы множественность одновременных раздражений производила на него впечатление известным образом и в известном порядке, распределяясь зараз на избранных частях его поверхности. Это, стало быть, огромная клавиатура, на которой внешний предмет выполняет сразу свой аккорд в тысячу нот, вызывая в определенном порядке и в один миг огромное множество элементарных ощущений, соответствующих всем заинтересованным точкам чувственного центра. Уничтожьте теперь внешний предмет, или орган чувств, или и то и другое; те же элементарные ощущения могут быть возбуждены, потому что те же струны остались и готовы звучать точно так же, но где клавиатура, позволяющая ударить по тысячам клавиш сразу и соединить столько же простых нот в один аккорд? По нашему мнению, «область образов», если она существует, только и может быть такой клавиатурой. Конечно, было бы вполне мыслимо, что чисто психическая причина прямо приводит в действие все заинтересованные струны. Но в случае умственного слушания, единственно нас интересующего, локализация функции, по-видимому, достоверна, потому что определенное поражение височной доли ее уничтожает; с другой стороны, мы изложили соображения, по которым мы не можем допустить, ни даже представить себе, осадков образов, отложенных в какой-либо области мозгового вещества. Единственная гипотеза остается, стало быть, допустимой, что область эта занимает, по отношению к центру самого слуха, место, симметричное органу чувств, которым в данном случае является ухо: это будет умственное ухо.

Тогда указанное противоречие рассеивается. С одной стороны, становится понятным, что вспомнутый слуховой образ приводит в движение те же нервные элементы, что и первоначальное восприятие и что воспоминание постепенно превращается в восприятие. С другой стороны, понятно также, что

способность вспоминать сложные звуки, каковы слова, может относиться к другим частям нервного вещества, чем способность их воспринимать: вот почему при психической глухоте действительный слух переживает слух умственный. Струны еще целы, и под влиянием внешних звуков они еще дрожат, но нет внутренней клавиатуры.

Другими словами, наконец, центры, где рождаются элементарные ощущения, могут быть приведены в действие как бы с двух разных сторон, спереди и сзади. Спереди они получают впечатление от органов чувств, следовательно, от *реального предмета*; сзади они подвержены, чрез ряд посредствующих влияний, влиянию *виртуального предмета*. Центры образов, если они существуют, могут быть, по отношению к чувственным центрам, только органами, симметричными органам чувств. Они настолько же не вместительны чистых воспоминаний, т. е. виртуальных предметов, насколько органы чувств не вместительны предметов реальных.

Прибавим, что это только бесконечно сокращенный перевод того, что может совершаться в действительности. Различные сенсоральные афазии показывают, что вызов слухового образа акт не простой. Между намерением, тем, что мы называем чистым воспоминанием, и слуховым образом-воспоминанием в собственном смысле чаще всего двигаются промежуточные воспоминания, которые должны сперва осуществиться в образах-воспоминаниях в более или менее отдаленных центрах. Только тогда, лишь постепенно, идея воплощается в особый образ, в образ словесный. Этим самым умственный слух может быть подчинен целостности различных центров и путей к ним ведущих. Но осложнения эти ничего не изменяют в корне вещей. Каково бы ни было число и природа промежуточных членов, мы идем не от восприятия к идее, а от идеи к восприятию, и характерный процесс

распознавания не центростремителен, а центробежен. Остается, правда, определить, как возбуждения, исходящие изнутри, могут порождать ощущения действием на мозговую кору или другие центры. Очевидно, что это только удобный способ выражаться. Чистое воспоминание, по мере осуществления, стремится вызвать в теле все соответственные ощущения. Но эти ощущения, также виртуальные, чтоб сделаться реальными, должны приводить в действие тело, придавать ему движения и положения, привычным антецедентом которых они являются. Колебания так называемых чувственных центров, обыкновенно предшествующие совершенным или намеченным телом движениям (нормальная роль их приготовить эти движения, начав их), служат не столько реальной причиной ощущения, сколько проявлением ее силы и условием ее действительности. Постепенное осуществление виртуального образа не что иное, как ряд переходов, которыми образ этот вынуждает у тела полезные действия. Возбуждение так называемых чувственных центров есть последний из этих переходов; это прелюдия к двигательной реакции, начало действия в пространстве. Другими словами, виртуальный образ развивается в направлении виртуального ощущения, виртуальное ощущение в направлении реального движения: это движение, осуществляясь, осуществляет зараз как ощущение, естественным продолжением которого оно является, так и образ, захотевший слиться с ощущением. Мы углубим понятие этих виртуальных состояний и, дальше проникая во внутренний механизм психических и психофизических актов, покажем, каким непрерывным ходом прошлое, актуализируясь, стремится вновь завоевать свое утраченное влияние.

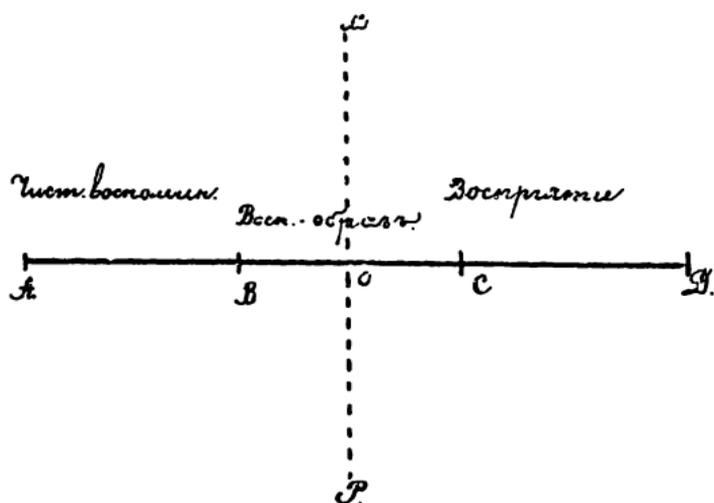
## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## О СОХРАНЕНИИ ОБРАЗОВ. ПАМЯТЬ И ДУХ

Повторим вкратце сказанное. Мы различаем чистое воспоминание, воспоминание-образ и восприятие, из которых ни одно, на самом деле, не появляется в отдельности. Восприятие никогда не бывает простым соприкосновением духа с наличным предметом; оно всегда пропитано дополняющими и поясняющими ее воспоминаниями-образами. Воспоминание-образ, в свою очередь, причастно к «чистому воспоминанию», которое оно начинает материализовать, и к восприятию, в которое стремится воплотиться: рассматриваемое с этой последней точки зрения, оно может быть определено как рождающееся восприятие. Наконец, чистое воспоминание, несомненно, независимое *de jure*, нормально проявляется только в окрашенном и живом образе, его обнаруживающем. Символизируя эти три понятия последовательными отрезками АВ, ВС и CD, прямой линии AD, можно сказать, что мысль наша чертит эту линию непрерывным движением, идущим от А к D, и невозможно сказать с точностью, где кончается одна часть и где начинается другая.

В этом без труда удостоверяется сознание всякий раз, когда для анализа памяти оно следит за движением работающей памяти. Нам надо вспомнить что-нибудь, вызвать период нашей истории? Мы сознаем, что совершается акт *sui generis*, которым мы отделяемся от настоящего и становимся сперва в прошедшее вообще, потом в какую-нибудь область прошедшего; работа на

ощущь аналогична с установкой фокуса фотографического аппарата. Но воспоминание все еще остается в мнимом состоянии; так мы только готовимся к получению его, принимая надлежащее положение. Мало-помалу оно появляется, как сгущающееся туманное пятно; из виртуального состояния оно переходит в актуальное, и по мере того как обрисовываются его контуры и окрашивается его поверхность, оно стремится к сходству с восприятием. Но глубокими корнями своими оно остается связанным с прошедшим, и мы никогда не признали бы его за воспоминание, если бы на нем не оставалось следа его изначальной виртуальности, если б оно, существуя в настоящем, все же не отличалось бы чем то от настоящего.



Постоянная ошибка ассоциационизма состоит в подстановке на место этой непрерывности осуществления — что и есть живая реальность — прерывистой множественности косных и сопоставленных элементов. Именно потому, что каждый из так составленных элементов содержит, вследствие своего происхождения, нечто из ему предшествовавшего, а также и из последующего, в наших глазах он должен принять форму состояния смешанного и, в некотором роде, нечистого. Но с другой стороны, принцип ассоциационизма требует, чтобы всякое

психологическое состояние было чем-то вроде атома, простым элементом. Отсюда необходимость пожертвовать неустойчивым, во всяком наблюдаемом фазисе, в пользу устойчивого, т. е. началом в пользу конца. Когда дело идет о восприятии, в нем не видят ничего, кроме скопления ощущений, его окрашивающих; всплывшие в памяти образы, составляющие его темное ядро, оставляют в стороне. Когда же дело доходит, в свою очередь, до вспомянутого образа, его берут готовым, осуществившимся в состоянии слабого восприятия и раскрывают глаза на чистое воспоминание, которое образ этот постепенно выявил. В противоборстве, устанавливаемом ассоциационизмом между стойким и нестойким, восприятие всегда сместит воспоминание-образ, а воспоминание-образ — чистое воспоминание. Вот почему чистое воспоминание исчезает окончательно. Ассоциационизм, рассекая надвое линией  $MO$  весь ход  $AD$ , не видит в отрезке  $OD$  ничего, кроме ощущений, которые ее заканчивают и которые для него составляют все восприятие. С другой стороны, отрезок  $AO$  он сводит к осуществившемуся образу, где заканчивается, распускаясь, чистое воспоминание. Тогда психологическая жизнь целиком сводится к двум элементам — к ощущению и образу. А так как в образе затопили чистое воспоминание, составлявшее его первоначальное состояние, и, кроме того, сблизили образ с восприятием, придав заранее восприятию нечто, принадлежащее самому образу, между этими двумя состояниями будут находить различие только в степени или интенсивности. Отсюда различие *состояний сильных и состояний слабых*, из которых первые возводятся нами в восприятия настоящего, а вторые — неизвестно почему — в представления прошлого. На самом же деле, мы никогда не достигнем прошедшего, не погрузившись сразу в него. Прошлое, по сущности виртуальное, может быть воспри-

нято нами как прошлое, только когда мы следуем за движением, которым оно распускается в образ настоящего, выступая из мрака на яркий свет. Напрасно было бы искать его следа в чем-либо актуальном и уже осуществленном: это все равно, что мрак искать на ярком свете. На этом именно и зиждется ошибка ассоциационизма: поместившись в актуальном, он тщетно силится открыть в состоянии осуществленном и наличном признак его происхождения в прошлом, отличить воспоминание от восприятия и установить различие в природе там, где он заранее признал лишь количественное различие.

*Воображать* не значит *вспоминать*. Конечно, воспоминание стремится жить в образе по мере того, как оно актуализируется; но обратное не верно, чистый и простой образ не унесет меня к прошедшему, если я действительно не искал его в прошедшем, следя за непрерывным ходом, приведшим его из мрака к свету. Психологи слишком часто это забывают; из того, что вспомнутое ощущение становится актуальнее, когда над ним дольше останавливаются, они заключают, что воспоминание ощущения и было этим зарождающимся ощущением. Факт, на который они ссылаются, конечно, верен. Чем большее усилие я употребляю, чтоб припомнить прошедшую боль, тем более я приближаюсь к действительному ощущению ее. Это легко понять, ибо образование воспоминания, сказали мы, состоит именно в его материализации. Вопрос в том, воспоминание о боли было ли сначала действительно болью. Гипнотизированному субъекту становится жарко, когда ему настойчиво повторяют, что ему жарко, но не оттого, конечно, что были жарки слова внушения.

Из того, что воспоминание ощущения продолжается в это самое ощущение, не следует точно так же заключать, что это воспоминание было зарождающимся ощущением: может быть, воспоминание игра-

ет, по отношению к ощущению, которое зародится, именно роль магнетизера, делающего внушение. В этой форме разбираемое нами рассуждение уже не имеет доказательности; оно еще не ложно, потому что на его стороне та несомненная истина, что воспоминание преобразуется по мере своей актуализации. Но нелепость становится очевидной, если рассуждать от обратного, — что должно быть допустимым при гипотезе, на которую становятся, — то есть, если мы представим себе, что сила ощущения уменьшается, вместо того чтобы заставляться усиливаться чистое воспоминание. Если между этими двумя состояниями различие просто в степени, то, в известный момент, ощущение превратилось бы в воспоминание. Если воспоминание сильной боли, например, есть только слабая боль, то сильная боль, мною испытываемая, уменьшаясь, должна превратиться в вспомняемую сильную боль. Несомненно, настает такой момент, когда невозможно сказать, чувствую ли я действительное слабое ощущение или воображаемое слабое ощущение, это вполне естественно, потому что воспоминание-образ участвует уже в ощущении, но это слабое состояние я никогда не приму за воспоминание о сильном состоянии. Стало быть, воспоминание нечто совсем другое.

Но иллюзия, состоящая в том, что между воспоминанием и восприятием видят только разницу в степени, есть нечто большее, чем простое следствие ассоциационизма, большее, чем эпизод в истории философии. Корни ее глубокие. Она зиждется, в конце концов, на ложном представлении о природе и об объекте внешнего восприятия. В восприятии усматривают только поучение, обращенное к чистому духу, и притом лишь спекулятивное. Но так как воспоминание, уже не имея объекта, по существу является познанием такого рода, то между восприятием и воспоминанием можно видеть лишь различие в степени:

восприятие смещает воспоминание и образует, таким образом, наше настоящее просто по праву сильнейшего. Но между настоящим и прошлым различие не просто в степени. Мое настоящее это то, что меня интересует, что для меня живет, то, наконец, что побуждает меня к действию, между тем как прошлое мое по существу бессильно. Остановимся на этом пункте. Мы лучше поймем природу того, что мы называем и «чистым воспоминанием», противопоставив ему наличное восприятие.

На самом деле невозможно было бы искать характеристики воспоминания прошлого состояния, не определив сначала конкретного признака наличной реальности, принятой сознанием. Что такое для меня настоящий момент? Времени присуще протекать; время, уже протекшее, есть прошлое, и настоящим мы называем мгновение, в которое оно протекает. Но здесь не может быть речи о математическом мгновении. Без сомнения, есть идеальное настоящее, только постижимое, неделимая граница, отделяющая прошлое от будущего. Но реальное, конкретное, изживаемое настоящее, то, о котором я говорю, когда говорю о наличном восприятии, оно необходимо имеет дление (*durée*). Где же обретается это дление? Находится ли оно впереди или позади математической точки, идеально мною определяемой, когда я думаю о настоящем мгновении? Слишком очевидно, что она одновременно и впереди и позади, и что то, что я называю «моим настоящим», захватывает одновременно часть моего прошедшего и часть моего будущего. Прежде всего часть моего прошедшего, ибо «момент, когда я говорю, уже далек от меня», затем и моего будущего, потому что это мгновение склоняется к будущему, к будущему я стремлюсь, и если б я мог остановить это неделимое настоящее, этот бесконечно малый элемент кривой времени, то он указывал бы направление будущего. Надобно, стало быть, чтобы психологичес-

кое состояние, которое я зову «моим настоящим» было одновременно и восприятием непосредственно прошлого и определением непосредственно будущего. Между тем непосредственно прошлое, поскольку оно воспринято, есть ощущение, как мы увидим, потому что всякое ощущение выражает весьма длинную последовательность элементарных колебаний; а непосредственно будущее, поскольку оно определяется, есть действие или движение. Мое настоящее, стало быть, есть одновременно ощущение и движение; а так как мое настоящее составляет нераздельное целое, то это движение должно зависеть от этого ощущения и продолжать его в действие. Из этого я заключаю, что настоящее мое представляет собою систему ощущений и движений. Мое настоящее по существу чувственно-двигательно.

Другими словами, мое настоящее заключается в сознании, которое я имею о своем теле. Протяженное в пространстве, тело мое испытывает ощущения и в то же время выполняет движения. Ощущения и движения локализируются в определенных точках этой протяженности, поэтому в один данный момент не может быть более одной системы движений и ощущений. Вот почему мое настоящее представляется мне вещью абсолютно определенной и резко отличной от моего прошлого. Помещенное между материей на него влияющей и материей, на которую оно влияет, мое тело есть центр действия, место, где полученные впечатления разумно выбирают пути для превращения в свершенные движения: оно, следовательно, действительно представляет актуальное состояние моего осуществления (*devenir*), то, что в моем длении (*durée*) образуется. Вообще, можно сказать, что в той непрерывности осуществления, которая и есть сама реальность, настоящий момент есть почти мгновенная вырезка, которую наше восприятие производит в протекающей массе, а вырезка эта и есть именно то, что мы на-

зывается материальным миром: тело наше занимает его центр; оно в этом материальном мире есть то, что мы непосредственно чувствуем, как протекающее; в его актуальном состоянии заключается актуальность нашего настоящего. Материя, поскольку она протяжена в пространстве, должна, по нашему мнению, определяться как настоящее, непрерывно вновь начинающееся; наоборот, наше настоящее есть именно материальность нашего существования, т. е. совокупность ощущений и движений, и ничего больше. Эта совокупность определена, единственна для каждого мгновения и именно потому, что ощущения и движения занимают места в пространстве и что в одном и том же месте не может быть нескольких вещей зараз. Почему могли не признать такой простой, такой очевидной истины, которая, в конце концов, есть только идея здравого смысла?

Причина именно в том, что между действительным ощущением и чистым воспоминанием упорно признавали лишь разницу в степени, а не по существу. Разница же, по нашему мнению, коренная. Мои действительные ощущения занимают определенные части поверхности моего тела; чистое воспоминание, наоборот, не захватывает никакой части моего тела. Материализуясь, оно, без сомнения, породит ощущение; но в этот самый момент оно перестанет быть воспоминанием, перейдет в состояние настоящего, актуально переживаемого; я могу возвратить ему его характер воспоминания только возвратом к процессу, которым я вызвал это воспоминание из глубин моего прошлого. Оно стало актуальным именно потому, что я сделал его активным, то есть ощущением, способным вызывать движения. Большая часть психологов, наоборот, принимают чистое воспоминание только за слабое восприятие, за совокупность рождающихся ощущений. Уничтожив, таким образом, наперед всякую разницу по существу между ощущением

и воспоминанием, они вынуждены, логикой своей гипотезы, материализовать воспоминание и идеализировать ощущение. Воспоминание они представляют себе только в форме образа, т. е. уже воплощенным в рождающихся ощущениях. Отнеся к воспоминанию основное из ощущения и не желая видеть в идеальности этого воспоминания чего бы то ни было отличного от ощущения, они вынуждены, возвращаясь к чистому ощущению, оставить за ним идеальность, приданную таким путем рождающемуся ощущению. Если прошлое, которое, по гипотезе, уже не действует, может существовать в состоянии слабого ощущения, то, стало быть, есть бессильные ощущения. Если чистое воспоминание, которое, по гипотезе, не затрагивает никакой определенной части тела, есть рождающееся ощущение, то ощущение не локализовано непременно в какой-нибудь точке тела. Видеть в ощущении состояние неустойчивое и непротяженное, приобретающее протяженность и укрепляющееся в теле только случайно есть иллюзия, которая глубоко искажает, как мы видели, теорию внешнего восприятия и поднимает много спорных вопросов в различных метафизиках материи. Как бы то ни было, ощущение, по существу, протяженно и локализовано, это источник движения; чистое воспоминание, будучи непротяженно и бессильно, совершенно не причастно к ощущению.

То, что я называю своим настоящим, есть положение, принятое мною по отношению к непосредственному будущему, это мое неминуемое действие. Мое настоящее, стало быть, чувственно-двигательно. Из прошлого моего только то становится образом, а следовательно, ощущением, хотя бы рождающимся, что может содействовать этому действию, вложиться в это положение — словом, стать полезным, но как только прошлое становится образом, оно выходит из чистого воспоминания и сливается с некоторой час-

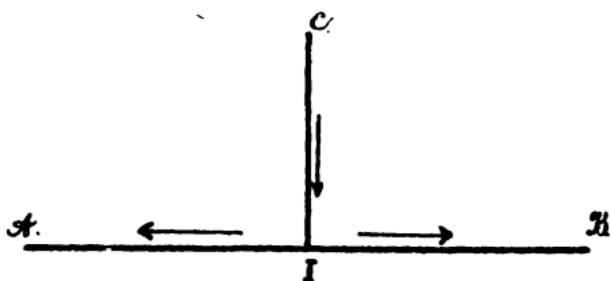
тью моего настоящего. Воспоминание, актуализированное в образе, глубоко отличается, следовательно, от чистого воспоминания. Образ — это состояние настоящее, и он связан с прошлым только воспоминанием, из которого вышел. Наоборот, воспоминание, бессильное пока оно бесполезно, остается чистым от всякой примеси ощущения, без связи с настоящим, и, следовательно, оно непротяженно.

Это полнейшее бессилие чистого воспоминания поможет нам понять, как оно сохраняется в скрытом состоянии. Не входя еще в глубь вопроса, ограничимся замечанием, что нам трудно признать *бессознательные* психологические *состояния* особенно потому, что мы принимаем сознание за основное свойство психологических состояний, так что психологическое состояние не может перестать быть сознательным, не перестав, по-видимому, существовать. Но если сознание только характерный признак *настоящего*, т. е. актуально переживаемого, т. е. *действующего*, тогда то, что не действует, может не принадлежать сознанию, не переставая однако существовать в иной форме. Другими словами, сознание, в психологической области, синоним не существования, но только реального действия или непосредственной возможности действия; когда термин этот так ограничен, легче представить себе бессознательное и психологическое состояние, т. е., в сущности, состояние бессильное. Как ни смотреть на сознание в самом себе, каким оно обнаружилось бы себя, действуя беспрепятственно, трудно отрицать, что у существа с телесными отправлениями целью сознания является, главным образом, управление действием и помощь в выборе. Оно бросает свой свет на непосредственные antecedенты решения и на все те antecedенты прошлых воспоминаний, которые могут полезно соединиться с ними; остальное остается в тени. Но здесь мы опять находим, в новой форме, непрерывно возрождающуюся иллюзию, с которой

мы боремся с самого начала этой книги. Даже когда сознание присоединено к телесным функциям, ему приписывают лишь случайное практическое значение, желают видеть в нем способность спекулятивную по существу. Но тогда какой интерес может иметь сознание упускать знания, которыми оно обладает? Почему сознание, будучи предназначено для чистого познания, отказывается освещать то, что не окончательно для него потеряно? Отсюда следовало бы, что по праву ему принадлежит все, чем оно обладает на самом деле, и что в области сознания все реальное актуально. Но если возвратить сознанию его настоящую роль, то настолько же не будет причин утверждать, что прошлое, раз воспринятое, стирается, как нет причин предполагать, что материальные предметы перестают существовать, когда я перестаю их воспринимать.

Остановимся на этом последнем пункте, потому что тут центр трудностей и источник недоразумений, окружающих проблему бессознательного. Идея *бессознательного представления* ясна, несмотря на распространенный предрассудок; можно даже сказать, что мы постоянно ею пользуемся и что нет концепции, более обыденной для здравого смысла. В самом деле, все признают, что наличные образы нашего восприятия не составляют всей материи. Но, с другой стороны, чем может быть не воспринятый материальный предмет, не воображаемый образ, если не своего рода бессознательным умственным состоянием? За пределами стен вашей комнаты, которые вы воспринимаете в эту минуту, есть соседние комнаты, остальная часть дома, наконец, улица, город, где вы живете. Решительно все равно, каких взглядов на материю вы придерживаетесь: реалист вы или идеалист, вы, очевидно, думаете, когда говорите о городе, об улице, о других комнатах дома, о восприятиях, отсутствующих в вашем сознании и тем не менее данных вне его. Они не создаются по мере того как сознание ваше принимает

их; стало быть, они каким-нибудь образом уже существовали, и так как, по гипотезе, сознание ваше их не намечало, как могли бы они существовать сами по себе, если не в состоянии бессознательного? Откуда происходит, что *существование вне сознания* кажется нам ясным, когда дело касается объекта, и темным, когда мы говорим о субъекте? Восприятия наши, актуальные и виртуальные, распределяются вдоль двух линий, одной — горизонтальной АВ, содержащей все одновременные предметы в пространстве, другой — вертикальной СІ, на которой располагаются наши последовательные воспоминания, размещенные во времени. Точка І, пересечение двух линий, есть единственная, актуально данная нашему сознанию. Почему мы без колебания принимаем реальность всей линии АВ, хотя она остается невидимой и, наоборот, на линии СІ только настоящее І, актуально воспринятое, кажется нам единственной точкой воистину существующей? В основе этого коренного различия между серией времени и серией пространства лежит столько смутных и плохо набросанных идей, столько гипотез, лишенных всякой спекулятивной ценности, что мы не в состоянии исчерпать всего быстрым анализом. Чтобы окончательно обнаружить иллюзию, пришлось бы изыскать с самого начала и проследить во всех изгибах двойное движение, которым мы доходим до принятия объективных реальностей без отношения к сознанию и состояний сознания без объективной реальности. Тогда оказывается, что пространство бесконечно сохраняет вещи, в нем размещенные, а время как бы разрушает мало-помалу *состояния*, следующие в нем одно за другим. Часть этой работы была сделана нами в первой главе этой книги, когда мы говорили об объективности вообще; остальное будет сделано на последних страницах, когда мы будем говорить об идее материи. Ограничимся здесь указанием на некоторые существенные точки.



Прежде всего, предметы, размещенные вдоль линии АВ, представляют для нас то, что мы будем воспринимать, между тем как линия СІ содержит только то, что мы уже восприняли. Далее, прошлое уже не представляет для нас интереса; оно истощило свое возможное действие или приобретет значение только почерпнув жизненность из наличного восприятия. Наоборот, ближайшее будущее состоит в неминуемом действии, в энергии, еще не израсходованной. Не воспринятая еще часть материальной вселенной, чреватая обещаниями и угрозами, является для нас реальностью, на которую не могут и не должны иметь влияние не воспринятые актуально периоды нашего прошедшего существования. Но это различие, целиком относящееся к практической пользе и к материальным требованиям жизни, принимает в нашем уме все более и более ясную форму метафизического различия.

Мы показали, что предметы, расположенные вокруг нас, представляют, в разных степенях, действие, которое мы можем оказывать на вещи, или действие, которое мы должны будем испытать от них. Срок этого возможного действия точно определяется большим или меньшим отдалением от соответственного предмета, так что расстояние в пространстве измеряет близость угрозы или обещания во времени. Пространство дает нам, стало быть, сразу схему нашего ближайшего будущего; так как это будущее должно протекать бесконечно, то пространство, его символизирующее, имеет свойством оставаться в своей неподвижности бесконечно открытым. Отсюда происходит, что непосред-

ственный горизонт, данный нашему восприятию, кажется нам по необходимости окруженным более широким кругом, существующим, хотя невидимым; этот круг предполагает собою другой круг, его обнимающий, и т. д. до бесконечности. Стало быть, наше актуальное восприятие, поскольку оно протяженно, имеет сущностью быть всегда только *содержимым* по отношению к более обширному и даже бесконечному опыту, ее содержащему; и этот опыт, отсутствующий в нашем сознании, потому что он переходит за воспринимаемый горизонт, все же кажется актуально данным. Мы чувствуем себя прицепленными к этим материальным предметам, из которых мы делаем наличные реальности, тогда как наши воспоминания, поскольку они прошлые, являются, наоборот, балластом, который мы тащим за собою, охотно делая вид, что освободились от него.

По инстинкту, в силу которого мы бесконечно раскрываем перед собою пространство, мы замыкаем за собою время по мере его протекания. И тогда как реальность, как протяженность, кажется нам бесконечно выходящей за пределы нашего восприятия, в нашей внутренней жизни наоборот, только то кажется нам *реальным*, что начинается с настоящим моментом; остальное практически уничтожено. И тогда, если в сознании появляется воспоминание, оно кажется нам привидением, таинственное появление которого надо объяснять особыми причинами. В действительности же сцепление этого воспоминания с нашим состоянием в настоящем вполне сравнимо со сцеплением предметов невоспринятых с теми, которые мы воспринимаем, и *бессознательное* в обоих случаях играет одинаковую роль.

Но нам очень трудно представить себе вещи в этом виде, потому что мы приучились подчеркивать различия и, наоборот, стушевывать сходства между серией *предметов*, одновременно расположенных в прост-

ранстве, и серией *состояний*, последовательно развивающихся во времени. В первой все члены устанавливаются совершенно определенно так, что появление каждого нового члена могло быть предвидено. Выходя из своей комнаты, я знаю, через какие комнаты я буду проходить. Наоборот, воспоминания мои являются в порядке с виду причудливым. Порядок представлений, стало быть, необходим в одном случае, в другом — случаен; и эту необходимость я как бы олицетворяю, когда говорю о существовании предметов вне всякого сознания. Если я без затруднения могу предположить, что дана вся совокупность предметов, мною не воспринимаемых, то это потому, что строго определенный порядок этих предметов придает им вид цепи и наличное мое восприятие тогда не более, как одно звено этой цепи: это звено передает свою актуальность остальной цепи. Но ближе присмотревшись, можно бы увидеть, что воспоминания наши образуют цепь того же рода, и что наш *характер*, всегда присутствующий при всех наших решениях, есть актуальный синтез всех наших бывших состояний. В этой сжатой форме наша предшествующая психологическая жизнь существует для нас даже более, чем внешний мир, которого мы воспринимаем всегда только малейшую долю, между тем как мы пользуемся совокупностью нашего пережитого опыта. Правда, мы обладаем ею лишь в сокращенном виде и наши прежние восприятия, рассматриваемые как отдельные индивидуальности, кажутся нам или окончательно исчезнувшими или появляющимися по своей прихоти. Но эта видимость полного разрушения или капризного воскресения зависит просто от того, что актуальное сознание принимает в каждое мгновение полезное, временно откидывая излишнее. Всегда устремленное к действию, оно может материализовать только те наши давние восприятия, которые организуются с наличным восприятием и принимают участие в оконча-

тельном решении. Если для проявления моей воли в данной точке пространства надобно, чтобы сознание мое прошло чрез каждый из промежутков или препятствий, которые в общем составляют то, что называется *расстоянием в пространстве*, то ему также бывает полезно для выяснения этого действия, перескочить через промежуток времени, отделяющий положение в настоящем от аналогичного положения в былом; и так как оно переносится туда одним скачком, вся промежуточная часть прошлого ускользает от него. Те самые причины, по которым наши восприятия располагаются в строгой последовательности в пространстве, заставляют воспоминания наши светиться прерывисто во времени. Невоспринятые предметы в пространстве и бессознательные воспоминания во времени не суть две радикально отличные формы существования; но для действия требования противоположны в обоих случаях.

Здесь мы соприкасаемся с важнейшей проблемой бытия, с проблемой, которую мы можем лишь слегка затронуть, иначе, переходя от вопроса к вопросу, мы вошли бы в сердцевину метафизики. Скажем просто, что в том, что касается вещей опыта, — а только ими мы здесь и занимаемся, — бытие предполагает соединение двух условий: 1) появление в сознании, 2) логическое или причинное соотношение того, что появилось в сознании, с предшествующим и с последующим. Для нас реальность психологического состояния или материального предмета состоит в том двойном факте, что сознание наше их воспринимает и что они входят в серии времени или пространства, где члены определяются один другим. Но эти два условия допускают степени, и понятно, что хотя оба необходимы, они выполняемы не одинаково. Так в случае внутренних актуальных состояний, связь менее тесна, случайности оставляется большое место и определение настоящего прошлым не имеет характера математического выво-

да; — зато появление в сознании полно, и наличное психологическое состояние дает нам совокупность своего содержания в самом акте его восприятия. Наоборот, когда дело касается внешних предметов, связь становится полной, потому что эти объекты повинуются необходимым законам; но тогда другое условие, появление в сознании, выполняется только частью, так как нам кажется, что материальный предмет, в силу многочисленности невидимых элементов, связывающих его с другими предметами, содержит в себе и скрывает за собою бесконечно больше, чем он обнаруживает. Мы сказали бы, что бытие в эмпирическом смысле слова, предполагает всегда заразу, но в различных степенях, сознательное усвоение и правильное соотношение. Но наше разумение, функция которого устанавливать резкие различия, не так понимает вещи. Вместо того чтоб признать во всех случаях присутствие обоих элементов, смешанных в различных пропорциях, оно предпочитает разъединить эти два элемента и приписать, таким путем, внешним предметам, с одной стороны, и внутренним состояниям, с другой, два способа существования радикально различных, причем каждый из них характеризуется исключительным присутствием условия, которое следовало бы объявить только преобладающим. Тогда существование психологических состояний будет заключаться целиком в усвоении их сознанием, а существование внешних явлений, также целиком, в строгом порядке их сосуществования и их последовательности. Отсюда невозможность предоставить невоспринимаемым, но существующим материальным предметам ни малейшего участия в сознании, а несознательным внутренним состояниям ни малейшего участия в существовании. В начале этой книги, мы показали последствия первой иллюзии: она приводит к извращению наших представлений о материи. Вторая, дополняющая первую, извращает нашу концепцию духа, покрывая ис-

кусственным мраком идею сознательной связи. Вся наша прошлая психологическая жизнь обуславливает наше настоящее состояние, не определяя его неизбежным образом; она обнаруживается также целиком в нашем характере, хотя ни одно из прошлых состояний явно в нашем характере не проявляется. Эти два условия, в соединении, обеспечивают каждому прошедшему психологическому состоянию существование реальное, хотя и бессознательное.

Но мы так привыкли переворачивать действительный порядок вещей в интересах практики, мы до такой степени охвачены неотступностью образов, почерпнутых из пространства, что не можем не спрашивать, где хранится воспоминание. Мы понимаем, что физико-химические явления происходят в мозгу, что мозг находится в теле, тело в окружающем его воздухе и т. д.; но прошлое, раз совершенное, если оно сохраняется, где оно? Просто и ясно, кажется, поместить его, в состоянии молекулярного изменения, в мозговое вещество, потому что мы имеем тогда актуально данный резервуар, который стоит только открыть, чтоб скрытые образы потекли в сознание. Но если мозг не может служить для такого употребления, какое хранилище населим мы накопленными образами? Забывают, что отношение между содержащим и содержимым получает свою кажущуюся ясность и всеобщность от необходимости для нас всегда открывать перед собою пространство и за собою всегда замыкать время. Показать, что одна вещь содержится в другой, совсем не значит объяснить этим явление ее сохранения. Более того: предположим на один момент, что прошлое переживает себя в состоянии воспоминания, сохраняемого в мозгу. Надобно, в таком случае, чтоб мозг, для сохранения воспоминания, по крайней мере, сохранялся сам. Но этот мозг, как протяженный образ в пространстве, занимает всегда только момент настоящего: он составляет, вме-

сте с остальной материальной вселенной непрерывно возобновляемую вырезку всеобщего осуществления; или вы должны предположить, что вселенная эта погибает и воскресает настоящим чудом во все моменты времени, или вы должны перенести на нее непрерывность существования, в которой вы отказываете сознанию, и сделать из ее прошедшего реальность себя переживающую и продолжающуюся в ее настоящем. Вы, стало быть, ничего не выиграете от накопления воспоминания в материи, а будете, наоборот, вынуждены распространить на совокупность состояний материального мира то независимое и полное переживание прошлого, в котором вы отказываете психологическим состояниям. Это переживание прошедшего *в себе* навязывается, стало быть, в той или иной форме и нам трудно понять ее просто потому, что мы приписываем серии воспоминаний во времени ту необходимость *содержать* и *содержаться*, которая верна только относительно совокупности тел, мгновенно воспринятых в пространстве. Основная иллюзия заключается в том, что мы переносим в длительность, в состоянии течения, форму мгновенных разрезов, которые мы в нем делаем.

Но как может прошедшее, по гипотезе переставшее существовать, сохраняться само собою? Нет ли здесь противоречия? На это мы ответим, что вопрос именно в том, перестало ли прошедшее существовать или просто перестало быть полезным. Вы произвольно определяете настоящее, как *то, что есть*, тогда как настоящее есть просто *то, что совершается*. Менее всего *есть* настоящий момент, если вы под этим подразумеваете неделимый предел, ограничивающий прошлое от будущего. Когда мы мыслим это настоящее как должствующее быть, его еще нет; а когда мы мыслим его как существующее, оно уже прошло. Но если, наоборот, вы будете рассматривать настоящее конкретное и действительно переживаемое сознанием, мож-

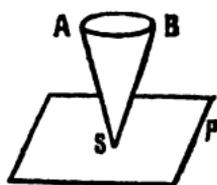
но сказать, что это настоящее состоит по преимуществу в непосредственно прошедшем. В доле секунды, срок возможно кратчайшего восприятия света, произошли триллионы вибраций, из которых первая отделена от последней промежутком, разделенным на огромное число раз. Стало быть, ваше восприятие, сколь бы оно ни было мгновенно, состоит из неисчислимого множества вспомнутых элементов, и, по правде сказать, всякое восприятие есть уже память. *Практически, мы воспринимаем только прошедшее*, так как чистое настоящее есть неуловимый ход прошедшего, которое гложет будущее.

Своим светом сознание, во всякий момент, освещает ту непосредственную часть прошлого, которое, склонившись над будущим, стремится реализовать и присоединить его к себе. Исключительно занятое, таким образом, определением неопределенного будущего, сознание может пролить немного света на те состояния нашего более отдаленного прошлого, которые могут полезно связаться с нашим настоящим состоянием, то есть с нашим непосредственным прошлым; остальное остается темным. Мы помещаемся в этой освещенной части нашей истории в силу основного закона жизни, закона действия: отсюда вытекает для нас трудность понять существование воспоминаний, которые как бы сохраняются во мраке. Наша неприязнь к принятию мысли о полном сохранении прошлого зависит от самого направления нашей психической жизни, которая есть истинное развитие состояний, где весь наш интерес сосредоточен на том, что развивается, а не на том, что уже развилось окончательно.

Так длинным обходом мы возвращаемся к нашей точке отправления. Мы говорили, что есть две памяти глубоко отличные. Одна из них, помещенная в организме, есть ничто иное, как совокупность разумно прилаженных механизмов, которые обеспечивают

подходящий ответ на различные возможные запросы. Благодаря ей, мы приспосабливаемся к настоящему положению; благодаря ей, претерпеваемые нами действия сами собою продолжают в реакции то выполненные, то зарождающиеся, но всегда более или менее приспособленные. Это скорее привычка, чем память, она разыгрывает наш прошлый опыт, но не вызывает его образа. Другая — это настоящая память. Сорастяжимая с сознанием, она удерживает и располагает одно за другим все наши состояния, по мере того как они наступают, оставляя за каждым фактом его место, т. е. обозначая его дату; она действительно движется в окончательном прошлом, а не как первая в непрерывно зачинающемся настоящем. Но глубоко различая эти две формы памяти, мы не показали их связи. Над телом, с его механизмами, символизирующими накопленное усилие прошлых действий, память воображающая и повторяющая витала в пустоте. Но если мы никогда ничего не воспринимаем, кроме нашего непосредственного прошлого, если наше сознание настоящего уже память, то два члена, сперва нами разделенные, тесно скрепляются вместе. Наше тело, рассматриваемое с этой новой точки зрения, ничто иное, как неизменно возрождающаяся часть нашего представления, всегда присутствующая, или скорее та, которая только что прошла. Будучи образом, это тело не может накапливать образы, так как оно составляет часть образов; и поэтому попытка локализовать в мозгу восприятия прошлые или даже наличные неосновательна: они не в нем, это он в них. Но тот особый образ, который держится среди других образов и который я называю своим телом, представляет в каждое мгновение, как было сказано, поперечный разрез всемирного осуществления. Это, стало быть, *место прохождения* полученных и отосланных движений, соединительная черта между вещами, на которые действую я, и вещами, которые действуют на меня, словом, место-

нахождение чувственно-двигательных явлений. Если конусом  $\Delta AB$  я представлю совокупность воспомина- ний, накопленных в моей памяти, то основание его  $AB$ , находящееся в прошедшем, остается неподвижным, между тем как вершина  $S$ , которая во всякий момент изображает мое настоящее, непрерывно идет вперед и также непрерывно касается подвижной плоскости  $P$ , моего актуального представления вселенной. В  $S$  сосредото- чивается образ тела; и, составляя часть плос- кости  $P$ , образ этот ограничивается принятием и отда- чей действий, которые исходят от всех образов, со- ставляющих плоскость.



Память тела, образованная из совокупности чувст- венно-двигательных систем, организованных при- вычкой, есть, стало быть, память почти мгновенная, для которой настоящая память прошлого служит ос- нованием. Так как они не составляют двух отдельных вещей, так как первая, сказали мы, только подвижное острие, вставленное второй в подвижную плоскость опыта, естественно, что обе функции оказывают одна другой взаимную поддержку. В самом деле, с одной стороны, память прошлого доставляет чувственно- двигательным механизмам все воспоминания, спо- собные руководить их работой и направлять двига- тельную реакцию в смысле, подсказанном уроками опыта: в этом именно и заключаются ассоциации по смежности и по сходству. Но с другой стороны, чувст- венно-двигательные аппараты дают бессильным, т. е. бессознательным, воспоминаниям средство воплотиться, материализоваться, стать настоящими. Для то- го чтобы воспоминание вновь появилось в сознании, надобно, чтоб оно спустилось с высот чистой памяти

именно до той точки, где совершается *действие*. Другими словами, от настоящего исходит призыв, на который воспоминание отвечает, а от чувственно-двигательных элементов наличного действия воспоминание заимствует тепло, дающее жизнь.

Разве не по прочности этого согласования, не по точности, с которой эти две дополнительные памяти внедряются одна в другую, мы узнаем «хорошо уравновешенные умы», то есть, в сущности, людей совершенно приспособленных к жизни? Человек деятельный отличается быстротой, с которой он призывает в помощь данному положению все воспоминания, к этому положению относящиеся, но это также и непреодолимая преграда на пороге сознания для всех бесполезных или безразличных воспоминаний. Жить исключительно в настоящем, отвечать на возбуждение непосредственной реакцией, его продолжающей, свойственно низшему животному; когда так поступает человек, он *импульсивен*. Но не лучше приспособлен к действию и тот, кто живет в прошедшем только потому, что это ему приятно, и у кого воспоминания выплывают на свет сознания без пользы для настоящего положения: это уже не импульсивный человек, а *мечтатель*. Между этими двумя крайностями стоит счастливая способность памяти, достаточно покорной, чтобы с точностью следить за всеми очертаниями наличного положения, но также и достаточно энергичной, чтобы противостоять всякому иному призыву. Только в этом, по-видимому, и заключается здоровый или практический смысл.

Необыкновенное развитие самопроизвольной памяти у большинства детей зависит именно оттого, что они еще не согласовали своей памяти со своим поведением. Обыкновенно они отдаются впечатлению момента, и так как поступки их не подчиняются указаниям воспоминания, то и обратно, их воспоминания не ограничиваются необходимостями действия. Они,

по-видимому, легче запоминают только потому, что вспоминают с меньшим разбором. Кажущееся уменьшение памяти, по мере того как развиваются умственные способности, зависит, стало быть, от увеличивающейся соорганизованности воспоминаний с поступками. Таким образом, сознательная память теряет в распространенности то, что выигрывает в проникновенности: сперва она обладала легкостью памяти грез, ибо она действительно грезила. Прибавим, что то же самое преувеличение самопроизвольной памяти наблюдается у людей, умственное развитие коих не превышает развития ребенка. Один миссионер после длинной проповеди дикарям Африки видел, как один из слушателей дословно повторил его проповедь со всеми его жестами от начала до конца\*.

Но если наше прошедшее почти целиком скрыто от нас, будучи подавлено потребностями настоящего действия, то оно обретает мощь для перехода за порог сознания во всех случаях, когда мы делаемся безучастны к деятельности, чтобы как бы перенестись в жизнь грез. Естественный или искусственный сон вызывают именно такое отрешение. Недавно нам доказывали, что во сне происходит перерыв соединения между чувственными и двигательными нервными элементами\*\*. Но и помимо этой остроумной гипотезы, нельзя не видеть во время сна, по крайней мере, функционального ослабления напряженности нервной системы, в бодрствующем состоянии всегда готовой продолжить полученное раздражение надлежащей реакцией. «Экзальтация» памяти в некоторых сновидениях и в некоторых сомнамбулических

---

\* Kay. *Memory and how to improve it*. New York 1888, стр. 18.

\*\* Mathias Duval. *Théorie histologique du sommeil* (C. R. de la Soc. de Biologie, 1895. стр. 74). — См. Lépine, *ibid*, стр. 85, и *Revue de Médecine*, август 1894, и особенно Pupin. *Le neurone et les hypothèses histologiques*. Paris, 1896.

состояниях есть общеизвестный факт наблюдения. С поражающей точностью возникают тогда воспоминания, казавшиеся вполне уничтоженными; мы переживаем во всех подробностях сцены детства давно позабытые; мы говорим даже на совершенно позабытых языках. Но нет ничего поучительнее в этом отношении того, что наблюдается в случаях внезапного удушения, у утопленников и повешенных. После оживления субъект рассказывает, что в короткое время перед ним прошли все забытые события его жизни, с мельчайшими подробностями и в том порядке, в котором они совершались\*.

Человек, который *грезил* бы свою жизнь, а не переживал бы ее, без сомнения, тоже имел бы перед глазами бесконечное множество подробностей своего прошлого. А тот, наоборот, который отказался бы от этой памяти со всем тем, что она порождает, непрестанно *разыгрывал* бы свою жизнь, вместо того чтоб действительно ее себе представлять: сознательным автоматом он шел бы по склону полезных привычек, продолжающих возбуждение в надлежащую реакцию. Первый никогда не выходил бы из частного и даже индивидуального. Оставляя каждому образу его дату во времени и его место в пространстве, он видел бы, чем каждый образ *отличается* от других, но не видел бы, в чем он с ними сходен. Второй, всегда влекомый привычкой, наоборот, различал бы во всяком положении только сторону практически *сходную* с предыдущими положениями. Неспособный, без сомнения,

---

\* Winslow. *Obscure Diseases of the Brain*. стр. 250 и след. — Ribot. *Maladie de la Memoire*. стр. 139 и след. — Maury. *Le sommeil et les rêves*. Paris, 1878, стр. 439. — Egger. *Le moi des mourants* (*Revue Philosophique*, январь—октябрь 1896.) — См. выражение Ball'я: «Память это способность, которая ничего не теряет и все записывает» (Цитир. Rouillard'ом *Les amnésies*, диссертация на доктора мед., Paris, 1885, стр. 25.

*мыслить* общее, так как общая идея предполагает, по крайней мере, виртуальное представление множества вспомняемых образов, он все же вращался бы во всеобщем, ибо привычка относится к действию, как общее относится к мысли. Но эти два крайние состояния, одно — всецело созерцательной памяти, которая схватывает только частное в своем *видении*, другое — всецело двигательной памяти, налагающей печать обобщенности на свое *действие*, изолируются и обнаруживаются полностью только в исключительных случаях. В нормальной жизни они тесно перемешиваются, отказываясь, как то, так и другое, от своей первоначальной чистоты. Первое выражается воспоминанием различий, второе — восприятием сходств: услияния этих двух потоков является общая идея.

Здесь не место решать вопрос об общих идеях. Между этими идеями есть такие, которые происходят не только из восприятий и относятся лишь очень отдаленно к материальным предметам. Мы оставим их в стороне и рассмотрим только общие идеи, основанные на том, что мы называем восприятием сходств. Мы желаем проследить чистую память, память интегральную, в непрестанном ее усилии войти в двигательную привычку. Этим мы уясним лучше роль и природу этой памяти; но тем же самым мы, может быть, и осветим, рассмотрев их в совершенно особом виде, два понятия, также темные, *сходства* и *общности*.

Подходя возможно ближе к трудностям психологического порядка, возникающим вокруг проблемы общих идей, можно заключить их, думаем, в следующий круг: чтобы обобщать, надо сперва абстрагировать; но чтоб с пользой абстрагировать, надо уже уметь обобщать. Около этого круга вертятся, сознательно или бессознательно, номинализм и концептуализм, и каждая из этих доктрин имеет за себя в особенности несостоятельность другой. Номиналисты, видя в общей идее только ее широту, рассматривают

ее просто как открытый и бесконечный ряд индивидуальных объектов. Единство идеи состоит, стало быть, для них только в тождестве символа, коим мы обозначаем безразлично все эти различные предметы. По их мнению, мы начинаем с того, что воспринимаем вещь, потом присваиваем ей слово; это слово, усиленное способностью или привычкой распространяться на неопределенное число других вещей, возводится тогда в общую идею. Но для того чтобы слово распространялось и все же ограничивалось предметами, им обозначаемыми, надобно еще, чтоб предметы эти представляли для нас сходства, которые, сближая эти предметы друг с другом, отличают их от всех предметов, этим словом не обозначаемых. Итак, обобщение не происходит, по-видимому, без абстрактного рассмотрения общих качеств, и номинализм, мало-помалу, вынужден будет определять общую идею совокупностью ее признаков, а не только ее распространенностью, чего он сначала хотел. Концептуализм исходит из первого. По концептуализму, ум расчленяет поверхностную целостность индивида на различные качества, из которых каждое, отделенное от индивида его ограничивавшего, тем самым становится представителем рода. Вместо того чтоб рассматривать каждый род как содержащий, *фактически*, множественность предметов, хотят, наоборот, чтоб каждый предмет заключал, *в возможности*, множественность родов в виде стольких же качеств, им задержанных в себе. Но вопрос именно в том, не остаются ли эти индивидуальные качества, даже изолированные усилием абстракции, индивидуальными, как и прежде, и не нужно ли, для возведения их в роды, нового усилия ума, при помощи которого каждому качеству будет сперва дано название, а затем под этим названием будет собрана множественность индивидуальных предметов. Белизна лилии не белизна снега: будучи изолированы от снега и от лилии, они остаются

ся белизной лилии и белизной снега. Они лишаются своей индивидуальности только тогда, когда мы принимаем во внимание их сходство, обозначая их общим именем: применяя тогда это наименование неопределенному числу сходных предметов, мы, как бы по рикошету, относим к качеству то обобщение, которое слово выискивало для его применения к вещам. Но рассуждая таким образом, не возвращаемся ли мы к точке зрения распространенности, которую мы оставили? Мы вертимся в круге, номинализм приводит нас к концептуализму, концептуализм возвращает нас к номинализму. Обобщение можно сделать только посредством извлечения общих качеств; но чтоб оказаться общими, качества должны сперва подвергнуться обработке обобщения.

Углубляясь в эти две противоположные теории, можно открыть общий им обеим постулат: и та, и другая предполагают, что мы исходим из восприятия индивидуальных предметов. Первая теория образует род перечислением; вторая выделяет его анализом; но анализ и перечисления относятся к индивидуам, рассматриваемым как реальности, данные непосредственной интуицией. Таков постулат. Несмотря на свою кажущуюся очевидность, он и не вероуверен и не согласен с фактами.

Аристотелю кажется, что ясное различение индивидуальных предметов есть роскошь восприятия, подобно тому, как ясное представление общих идей есть утонченность ума. Совершенное представление о родах есть, конечно, принадлежность человеческой мысли: оно требует усилия размышления, которым мы в представлении сглаживаем особенности времени и места. Но размышление *над* этими особенностями, размышление, без которого от нас ускользала бы индивидуальность предметов, предполагает способность замечать различия, следовательно, предполагает память образов, что, несомненно, составляет

привилегию человека и высших животных. По-видимому, мы начинаем ни с восприятия индивида, ни с усвоения рода, но с промежуточного познания, с неясного чувства *выдающегося качества* или сходства: это чувство, одинаково удаленное и от ясно понятой общности и от ярко воспринятой индивидуальности, порождает как ту, так и другую путем диссоциации. Мыслительный анализ выделяет его в общую идею; различительная память уплотняет его в восприятие индивидуального.

Это станет ясным, раз мы обратимся к вполне утилитарному происхождению нашего восприятия вещей. В известном положении нас более всего интересует и мы прежде всего стремимся уловить то, что может отвечать наклонности или потребности: потребность направляется прямо к сходству или качеству, ей не нужны индивидуальные различия. Этим различением полезного должно обыкновенно ограничиваться восприятие животных. Трава *вообще* притягивает травоядное: цвет и запах травы, почувствованные и испытанные как силы (мы не заходим так далеко, чтоб сказать: мыслимые как качества или роды), являются единственными непосредственными данными внешнего восприятия. На этом фоне общности или сходства память животного может выделить контрасты, откуда рождаются различия; оно отличит тогда один пейзаж от другого, одно поле от другого: но это уже будет, повторяем, излишек восприятия, а не необходимое. Нам скажут, что мы только отодвигаем задачу, что мы просто откидываем в бессознательное процесс, коим выделяются сходства и устанавливаются роды? Но мы ничего не откидываем в бессознательное по той простой причине, что, по нашему мнению, сходство выделяется здесь не усилием психологического свойства: это сходство действует объективно, как сила, и вызывает тождественные реакции в силу чисто физического закона, по которому одинаковые общие следствия

должны следовать за одинаковыми глубокими причинами. Если соляная кислота всегда действует на углекислую известь, будь то мрамор или мел, разве кто-нибудь скажет, что кислота разбирает между видами характерные черты рода? Но ведь нет существенной разницы между процессом, с помощью которого эта кислота извлекает основание из соли, и процессом, которым растение неизменно извлекает из всякой почвы различные элементы, служащие для его питания. Сделайте шаг вперед; представьте себе зачаточное сознание, каково, может быть, сознание амебы,двигающейся в капле воды: это крошечное существо будет ощущать сходства, а не различия органических веществ, которые оно способно усваивать. Словом, можно проследить от минерала до растения, от растения до простейших сознательных существ, от животного до человека ход процесса, которым вещи и существа схватывают в окружающем то, что их привлекает, что их практически интересует, не нуждаясь в абстракции, просто потому, что все остальное в их окружающем остается им чуждо: это тождество реакции на действия поверхностно различные и есть тот зародыш, который человеческое сознание развивает в общие идеи.

Подумайте, в самом деле, о назначении нашей нервной системы, поскольку оно определяется ее строением. Мы видим весьма различные аппараты восприятия, соединенные, при посредстве центров, с двигательными аппаратами. Ощущение неустойчиво; оно может принимать очень разнообразные оттенки; двигательный механизм, наоборот, раз установленный, будет действовать неизменно одинаково. Стало быть, можно предположить восприятия самые различные в их поверхностных подробностях; если они продолжают в те же двигательные реакции, если организм может извлечь из них те же полезные последствия, если они придают телу то же по-

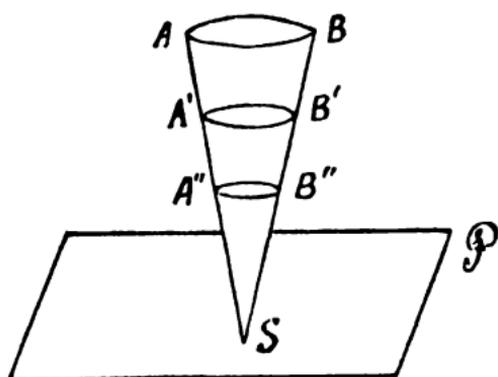
ложение, нечто общее выделяется из них и общая идея будет таким образом прочувствована, испытана, прежде чем стать представлением.

Наконец мы освободились от круга, в котором были замкнуты сначала. Чтобы обобщать, сказали мы, надо абстрагировать сходства, но чтобы с пользой выделять сходство, надо уже уметь обобщать. На самом деле круга этого нет, потому что сходство, откуда исходит ум, когда он абстрагирует сначала, не то сходство, к которому ум приходит, когда он сознательно обобщает. Сходство, из которого он исходит, сходство прочувствованное, прожитое или, если хотите, автоматически разыгранное. То, к которому он приходит, есть сходство разумно наблюденное или продуманное. Но именно в ходе этого процесса создаются — двойным усилием, разума и памяти — восприятие индивидов и восприятие родов: память налагает различия на самопроизвольно абстрагированные сходства, а разум выделяет из привычки к сходству ясную идею общности. Изначально эта идея общности была нашим сознанием тождества принятого положения при различности обстоятельств; это была сама привычка, поднимавшаяся из сферы движений в сферу мысли. Но от родов, механически намеченных привычкой, мы перешли усилием размышления над самим этим процессом к *общей идее рода*; раз эта идея была составлена, мы построили, на этот раз по своей воле, неограниченное число общих понятий. Здесь нет надобности следовать за умом во всех подробностях этого построения. Скажем только, что разум, подражая работе природы, также устроил двигательные аппараты, на этот раз искусственные, заставляя их отвечать, в ограниченном числе, на неограниченную множественность индивидуальных предметов: членораздельная речь есть совокупность этих механизмов.

Эти две расходящиеся операции ума — одна для

различения индивидов, другая для образования родов — требуют одинакового усилия и идут с одинаковой скоростью. Первая, требующая только вмешательства памяти, совершается с самого начала нашего опыта, вторая бесконечно продолжается, никогда не заканчиваясь. Первая приходит к построению стойких образов, которые в свою очередь скопляются в памяти; вторая создает не стойкие и исчезающие представления. Остановимся на этом последнем пункте; здесь мы дошли до существенного явления умственной жизни.

Сущность общей идеи в том, чтобы без остановки вращаться между сферой действия и сферой чистой памяти. Возвратимся к схеме, нами уже очерченной. В  $S$  находится актуальное восприятие моего тела, т. е. некое чувственно-двигательное равновесие. На поверхности основания  $AB$  будут расположены, если хотите, мои воспоминания в их совокупности. В конусе, таким образом определенном, общая идея будет беспрерывно колебаться между вершиной  $S$  и основанием  $AB$ . В  $S$  она примет ясную форму телесного положения или произнесенного слова; в  $AB$  она примет не менее ясный аспект тысячи индивидуальных образов, о которые разбивается ее хрупкое единство. Вот почему психология, которая придерживается законченного, имеет дело с *вещами* и не ведает *прогрессивирований*, не увидит в этом движении ничего, кроме крайних точек, между которыми оно происходит; для нее общая идея будет совпадать то с действием, которое ее разыгрывает, или со словом, ее выражающим, то с множественными образами, в неопределенном числе, равнозначащими ей в памяти. Но дело в том, что общая идея ускользает от нас, когда мы мним укрепить ее у того или другого из этих двух концов. Она состоит в двойном течении, идущем от одного конца к другому, она всегда готова то кристаллизироваться в словах, то улетучиться в воспоминаниях.



Это значит, что между чувственно-двигательными механизмами, изображаемыми точкой  $S$ , и совокупностью воспоминаний, расположенных в  $AB$ , есть место — на что мы указали в предыдущей главе — тысячам повторений нашей психологической жизни, изображаемым сечениями  $A'B'$ ,  $A''B''$  и т. д., того же конуса. Мы стремимся рассеяться в  $AB$ , по мере того как отдаляемся от нашего чувственного и двигательного состояния, чтобы жить жизнью грезы; мы стремимся сосредоточиться в  $S$ , по мере того, как крепче привязываемся к наличной реальности, отвечая двигательными реакциями на чувственные возбуждения. *De facto*, нормальное я никогда не укрепляется в одном из этих крайних положений; оно двигается между ними, по очереди принимает положения, изображаемые промежуточными сечениями или, другими словами, придает своим представлением ровно столько образа и ровно столько идеи, чтобы они могли принимать полезное участие в наличном действии.

Из этой концепции низшей умственной жизни могут быть выведены законы ассоциации идей. Но прежде чем приступить к этому вопросу, покажем недостаточность ходячих теорий ассоциации.

Не подлежит сомнению, что каждая возникающая в уме идея имеет отношение сходства или смежности с предыдущим умственным состоянием: но такое утверждение не уясняет нам механизма ассоциации

и, по правде сказать, не научает нас ровно ничему. В самом деле, нет двух идей, которые не имели бы между собою чего-нибудь сходного или не прикасались бы какими либо сторонами. Если дело в сходстве, то как бы глубоки ни были различия, отделяющие два образа, можно всегда найти, поднявшись достаточно высоко, общий род, к которому они принадлежат и, следовательно, сходство их соединяющее. Если дело в смежности, то восприятие *A*, как мы сказали выше, вызывает «по смежности» старый образ *B*, лишь когда он вызывает сперва образ *A'* с ним схожий, потому что в *B* соприкасается в памяти воспоминание *A'*, а не восприятие *A*, стало быть, как бы отдаленно друг от друга ни были, по предположению, члены *A* и *B*, между ними всегда можно будет установить отношение по смежности, если вставочный член *A'* имеет с *A* достаточно отдаленное сходство. Это значит, что между какими бы то ни было двумя идеями, наудачу взятыми, всегда есть сходство и всегда, если хотите, смежность, так что, открывая отношение смежности или сходства между двумя последующими представлениями, ничуть не объясняют, почему одно из них вызывает другое.

Настоящий вопрос в том, чтоб узнать, как совершается выбор между бесконечным числом воспоминаний, которые все чем-нибудь походят на наличное восприятие и почему одно из них — именно это, а не другое — выступает на свет сознания. Но на этот вопрос ассоциационизм ответить не может, потому что и идеи и образы он возводит в независимые сущности, плавающие, как атомы Эпикура, во внутреннем пространстве, сближающиеся, сцепляющиеся, когда случайность приведет их в сферу притяжения одних другими. Углубляя доктрину в этом пункте, увидели бы, что ее ошибка в слишком большой *интеллектуализации* идей, в придании им чисто спекулятивной роли, в признании, что они существуют сами для себя,

а не для нас, в том, что упустили из внимания их отношение к деятельной роли воления. Если воспоминания блуждают, безразличные в инертном и аморфном сознании, то нет никакой причины, чтоб наличное восприятие привлекло предпочтительно одно из них: я могу, стало быть, только констатировать встречу, раз она произошла, и говорит о сходстве или смежности, а это сводится в сущности, к смутному признанию, что состояния сознания имеют между собою сродство.

Но само это сродство, принимающее двойную форму смежности и сходства, ассоциационизм не может ничем объяснить. Общая тенденция ассоциироваться остается, по этой доктрине, столь же темной, как и частные формы ассоциации. Установив индивидуальные воспоминания-образы, как совершенно законченные вещи, данные такими в течение нашей умственной жизни, ассоциационизм вынужден предполагать между этими предметами таинственные притяжения, о которых нельзя даже сказать заранее, как о физическом притяжении, какими явлениями они обнаружатся. Зачем образ, довлеющий себе по гипотезе, стал бы присоединять к себе другие образы, сходные или данные с ним как смежные? Но дело в том, что этот независимый образ есть искусственный и поздний продукт ума. Ведь мы воспринимаем сходства раньше, чем воспринимаем схожих между собою индивидов и, в агрегате смежных частей, воспринимаем целое раньше частей. Мы идем от сходства к сходным предметам, вышивая по сходству, этой общей канве, разновидность индивидуальных различий. И мы идем также от целого к частям путем расчленения, закон которого мы найдем ниже, раздробляя, для наибольшего удобства практической жизни, непрерывность реального. *Ассоциация*, стало быть, не первоначальный факт; мы начинаем с *диссоциации*, и тенденция каждого воспоминания присое-

динять к себе другие воспоминания, объясняется естественным возвратом ума к нераздельному единству восприятия.

Здесь мы открываем коренной недостаток ассоциационизма. Раз дано наличное восприятие, которое поочередно образует, с различными воспоминаниями, несколько последовательных ассоциаций, есть два способа, сказали мы, представлять себе механизм этой ассоциации. Можно предположить, что восприятие остается тождественным самому себе, настоящим психологическим атомом, присоединяющим к себе другие восприятия по мере того, как они проходят около него. Такова точка зрения ассоциационизма. Но есть другая точка зрения, и именно ее мы намечали в нашей теории узнавания. Мы предположили, что наша личность, в ее целом, с совокупностью наших воспоминаний, входит нераздельной в восприятие настоящего момента. И тогда, если это восприятие поочередно вызывает различные воспоминания, то не потому, что оно, оставаясь неподвижным, присоединяет к себе механически все большее число элементов, но потому, что все наше сознание расширяется и, разливаясь тогда на более обширной поверхности, может подробнее охватить свое богатство. Так туманная группа, наблюдаемая все в более сильные телескопы, распадается на большое число звезд. В первой гипотезе (она имеет за себя только кажущуюся простоту и аналогию с дурно понятым атомизмом) каждое воспоминание составляет независимое и застывшее существо, и нельзя сказать, ни для чего оно старается присоединить себе другие воспоминания, ни как оно их выбирает для ассоциации, в силу смежности или сходства, среди тысяч других равноправных воспоминаний. Надо предположить, что идеи сталкиваются случайно или что между ними действуют таинственные силы, а тогда этому противоречит свидетельство сознания, никогда не обнару-

живающего нам психологических явлений, существующих в независимом состоянии. Во второй гипотезе, ограничиваются удостоверением солидарности между психологическими фактами, всегда данными вместе непосредственному сознанию как нераздельное целое, которое размышлением расчленяется на отдельные части. А тогда надо объяснять уже не связность внутренних состояний, но двойное движение сжатия и расширения, которым сознание сокращает или распространяет развитие своего содержания. Но это движение выводится, как мы увидим, из основных потребностей жизни; и легко также видеть, почему «ассоциации», которые мы, по-видимому, образуем вдоль этого движения, исчерпывают все последующие степени смежности и сходства.

Представим себе на одно мгновение, что наша психологическая жизнь сводится к одним чувственно-двигательным функциям. Другими словами, поместимся в начерченной нами схематической фигуре (стр 577), в точке *S*, соответствующей возможно полному упрощению нашей умственной жизни. В этом состоянии всякое восприятие само собою продолжается в надлежащие реакции, потому что предыдущие аналогичные восприятия построили более или менее сложные моторные аппараты, которые ждут только повторения того же призыва, чтоб прийти в действие. В этом механизме есть *ассоциация по сходству*, потому что наличное восприятие действует в силу подобия с прошлыми восприятиями, и есть также *ассоциация по смежности*, потому что движения, следующие за этими старыми восприятиями, воспроизводятся вновь, и могут даже повлечь за собою неопределенное число действий, координированных с первым действием. Мы ухватываем здесь, у самого источника и почти слитыми вместе — не мыслимые, конечно, а разыгранные и пережитые — ассоциацию по сходству и ассоциа-

цию по смежности. Это не соприкасающиеся формы нашей психологической жизни. Они представляют собою два дополнительных аспекта одного и того же основного стремления, стремления всякого организма извлечь из данного положения все, что в нем есть выгодного, и сохранить возможную реакцию, в виде двигательной привычки, чтобы использовать ее при положениях того же рода.

Перенесемся теперь разом на противоположный край нашей умственной жизни. Перейдем согласно нашему методу, от психологического состояния, просто «разыгранного», к психологическому состоянию, исключительно «мечтаемому». Другими словами, поместимся на то основание памяти АВ (стр. 577), где зарисовываются в мельчайших подробностях события нашей прошедшей жизни. Оторванное от действия, сознание, которое держало бы, таким образом, перед своим взором совокупность своего прошлого, не имело бы никакой причины остановиться скорее на одной, чем на другой части этого прошлого. В одном смысле, все его воспоминания отличались бы от его актуального восприятия, так как, взятые во всей множественности своих подробностей, два воспоминания никогда не тождественны. Но в другом смысле, *любое* воспоминание могло бы быть сближено с наличным положением: достаточно отбросить, в этом восприятии и в этом воспоминании, требуемое число подробностей, чтобы выявилось лишь сходство. Если воспоминание связалось с восприятием, то множество событий, смежных с воспоминанием, тем самым связалось бы с восприятием — множество неопределенное, которое остановилось бы только в той точке, где пожелали бы остановиться. Нет жизненных потребностей, чтобы упорядочить следствие сходства и, следовательно, смежности, а так как, в сущности, все сходно, то все может ассоциироваться. Актуальное восприятие только что продолжалось в определен-

ные движения; оно растворяется теперь в бесконечности воспоминаний одинаково возможных. И так ассоциация вызвала бы в  $AB$  произвольный выбор, в  $S$  неминуемое действие.

Это лишь крайние пределы, на которые психолог должен поочередно становиться для удобства изучения, но фактически, они никогда не достижимы. Не существует, по крайней мере у человека, чисто чувственно-двигательного состояния, как нет у него мечтательной жизни без субстрата неясной деятельности. Мы сказали, что наша нормальная психологическая жизнь колеблется между этими двумя крайностями. С одной стороны чувственно двигательное состояние  $S$  направляет память, составляя, в сущности, ее актуальную и деятельную конечность; с другой стороны, сама эта память, с совокупностью нашего прошлого, напором вперед стремится запечатлеть на наличном действии возможно большую часть самой себя. Из этого двойного усилия во всякое мгновение образуется неопределенное множество возможных *состояний* памяти, изображенных на нашей схеме сечениями  $A'B'$ ,  $A''B''$  и т. д. Мы сказали, что каждое из них — повторение всей нашей прошлой жизни. Но каждое из этих сечений более или менее обширно, смотря по тому, приближается ли оно к основанию или к вершине; кроме того, каждое из этих полных представлений нашего прошлого выводит на свет сознания лишь то, что может уложиться в чувственно-двигательное состояние, то, следовательно, что сходно с наличным восприятием с точки зрения действия, которое надлежит выполнить. Другими словами, интегральная память отвечает на призыв наличного состояния двумя одновременными движениями: движением перемещения, которым она целиком идет навстречу опыту и, таким образом, более или менее сжимается, не разделясь ввиду действия; движением вращения вокруг себя самой, которым

она ориентируется, обращая к положению момента наиболее полезную свою сторону. Разнообразные формы ассоциации по сходству соответствуют этим разным степеням сокращения.

Все происходит так, как будто наши воспоминания повторяются в неопределенном числе раз в тысячах возможных сокращений нашей прошедшей жизни. Они принимают более обыденную форму, когда память сжимается сильнее, становятся более личными, когда память расширяется, и входят, наконец, в беспредельное множество различных «систематизаций». Слово, сказанное на иностранном языке, может заставить меня подумать об этом языке вообще или о голосе, который когда-то произносил это слово особенным образом. Эти две ассоциации по сходству не зависят от случайного появления двух различных представлений, случайно приведенных в сферу притяжения актуального восприятия. Они соответствуют двум различным умственным настроениям, двум различным степеням напряжения памяти, — в одном случае более близкой к чистому образу, в другом более расположенной к непосредственному ответу, т. е. к действию. Классифицировать эти системы, изучить закон, который связывает каждую из них с различными «тонусами» нашей умственной жизни, показать, как каждый из этих тонусов сам определяется необходимостями момента, а также изменчивой степенью нашего личного усилия, это было бы трудной задачей; вся эта психология еще не установлена и сейчас мы не желаем и приступать к этому. Но всякий из нас чувствует, что законы эти есть, что существуют устойчивые соотношения такого рода. Мы знаем, например, когда читаем психологический роман, что некоторые ассоциации идей, которые нам описывают, истинны, что они могли переживаться; другие нас поражают неприятно или не дают нам впечатление реального, потому что мы

чувствуем в них результат механического сближения между различными высотами духа, как будто автор не сумел удержаться на выбранной им плоскости умственной жизни. Память имеет, стало быть, последовательные и различные степени напряжения или жизненности, которые, несомненно, трудно определить, но человек, живописующий душу, не может безнаказанно смешивать их между собою. К тому же патология подтверждает эту истину, — правда, на весьма грубых примерах — которую каждый чувствует инстинктивно. В «систематизированных амнезиях», истеричных например, воспоминания, по-видимому, утраченные, в действительности существуют; но все они относятся — это не подлежит сомнению — к определенному тону интеллектуальной жизненности, для субъекта уже невозможному.

Если существуют *различные плоскости* — в неопределенном числе — для ассоциаций по сходству, то они существуют и для ассоциаций по смежности. В крайней плоскости, представляющей основание памяти, нет воспоминания, не связанного по смежности с совокупностью событий ему предшествующих, а также и последующих. Между тем в точке, где сосредоточивается наше действие в пространстве, смежность приводит вновь, в виде движения, только к реакции, непосредственно следующей за подобным же восприятием в прошлом. Ведь всякая ассоциация по смежности предполагает положение духа промежуточное между этими двумя крайними границами. Если и здесь предположить множество возможных повторений совокупности наших воспоминаний, каждый экземпляр нашей протекшей жизни разрежется, по своему, на определенные слои, и способ деления будет иной, если перейти от одного экземпляра к другому, потому что каждый из них характеризуется именно природой преобладающих воспоминаний, к которым другие воспоминания прислоняются, как

к точке опоры. Так например, чем более приближаешься к *действию*, тем более смежность приближается к сходству и отличается, таким образом, от простого отношения хронологической последовательности: так о словах иностранного языка, когда они вызывают друг друга в памяти, нельзя сказать ассоциируются ли они по сходству или по смежности. Наоборот, чем более мы отрешаемся от реального или возможного действия, тем более ассоциация по смежности стремится попросту воспроизвести последовательные образы нашей прошедшей жизни. Основательное изучение этих разных систем здесь невозможно. Достаточно указать, что системы эти не образованы из сопоставленных, отдельных, как атомы, воспоминаний. Всегда есть несколько преобладающих воспоминаний, ярких точек, вокруг которых остальные образуют неопределенную туманность. Эти яркие точки умножаются по мере расширения нашей памяти. Процесс локализации воспоминаний в прошлом, например, вовсе не заключается в том, чтобы рыться в массе воспоминаний, как в мешке, и вытаскивать оттуда все более сближенные воспоминания, между которыми и станет на свое место воспоминание, которое надо локализовать. Каким счастливым случаем мы попадем именно на увеличивающееся число промежуточных воспоминаний? Работа локализации, в действительности, состоит в растущем усилии *расширения*, которым память, всегда всецело наличная для самой себя, распространяет свои воспоминания на все более и более обширную поверхность и наконец различает — в скопище до той поры беспорядочном — воспоминание, до сих пор не находившее своего места. И здесь патология памяти дает нам поучительные сведения. Весьма вероятно, что, в ретроградной амнезии, воспоминания, исчезающие из сознания, сохраняются на крайних плоскостях памяти, и субъект может найти их там при исключительном усилии, которое он совершает,

например, в состоянии гипноза. Но на низших плоскостях, эти воспоминания как бы ждали преобладающего образа, к которому могли бы прислониться. То или иное внезапное потрясение или сильное волнение станет решающим событием, с которым они свяжутся; а если это событие, вследствие своей внезапности, выделится из остальной истории нашей жизни, они последуют за ним в забвение. Так становится понятным, что амнезия, следующая за потрясением, нравственным или физическим, включает и события непосредственно предшествовавшие, — явление, которое очень трудно объяснить при всякой другой концепции памяти. Заметим мимоходом: если не приписывать такого рода ожидания свежим воспоминаниям, и даже относительно давним, то нормальная работа памяти станет непонятной. Ибо всякое событие, воспоминание о котором запечатлелось в памяти, как бы оно ни было просто, занимало некоторое время. Восприятия, кои наполнили первый период этого промежутка и которые образуют теперь с последующими восприятиями нераздельное воспоминание, стало быть «висели в воздухе» пока еще не произошла решительная часть события. Стало быть, между исчезновением какого-нибудь воспоминания с его предварительными подробностями, и уничтожением, при ретроградной амнезии, более или менее большего числа воспоминаний, предшествовавших данному событию, существует простая разница в степени, а не по существу.

Из этих различных взглядов на низшую умственную жизнь вытекает известная теория умственного равновесия. Это равновесие будет, очевидно, нарушено только пертурбацией элементов, служащих ему материалом. Здесь не может быть речи о поднятии вопросов патологии души, но мы все же не можем окончательно исключить их, ибо стараемся определить точные соотношения тела и духа.

Мы предположили, что дух непрерывно пробегает промежуток между двумя крайними пределами, между плоскостью действия и плоскостью мечты. Нужно ли принять решение? Собирая и организуя совокупность своего опыта в том, что мы называем характером, дух направит его к действиям, а в них вы найдете, вместе с прошлым, служащим им основой, непредвиденную форму, которую личность им придаст; но действие станет выполнимым, только если оно вполне войдет в актуальное положение, т. е. в совокупность обстоятельств, порождаемых определенным положением тела во времени и в пространстве. Если дело идет об умственной работе, о составлении концепции, об извлечении более или менее общей идеи из множественности воспоминаний, то большой простор оставляется фантазии, с одной стороны, логическому различению, с другой, но идея, чтоб сделаться жизнеспособной, должна будет, какой-либо стороной коснуться наличной реальности, т. е., постепенно и прогрессивно уменьшаясь или сжимаясь, стать такой, чтоб тело могло ее более или менее разыграть, а дух представить. Наше тело, с ощущениями, которые оно получает и с движениями, которые оно способно выполнить, есть, стало быть, действительно то, что удерживает дух, то, что дает ему устойчивость и равновесие. Деятельность духа бесконечно переходит за пределы массы накопленных воспоминаний, как сама эта масса воспоминаний бесконечно превышает ощущения и движения настоящей минуты; но эти ощущения и эти движения обуславливают то, что можно было бы назвать *вниманием к жизни*, вот почему в нормальной работе духа все зависит от их сцепления, как в пирамиде, которая стояла бы на своей вершине.

Стоит только взглянуть на тонкое строение нервной системы, открытое нам недавними исследованиями. Всюду как будто проводники и нигде нет

центров. Нити, приставленные одна к другой концами, которые, без сомнения, сближаются, когда проходит ток, — вот все, что видно. И, может быть, больше ничего и нет, если правда, что тело есть только место встречи между полученными возбуждениями и выполненными движениями, как мы всюду предполагали в настоящем труде. Но эти нити, получающие от внешней среды колебания и возбуждения и отсылающие их в форме соответствующих реакций, эти нити, столь мудро натянутые от периферии к периферии, именно прочностью своих соединений и точностью своих перекрещиваний, обеспечивают чувственно-двигательное равновесие тела, т. е. его приспособление к наличному положению. Ослабьте это напряжение или нарушьте это равновесие: все произойдет так, как будто рассеялось внимание к жизни. В этом, по-видимому, состоит греза и безумство.

Мы только что говорили о недавней гипотезе, объясняющей сон нарушением солидарности между нейронами. Если даже не признавать этой гипотезы (хотя она подтверждается интересными опытами), все же в глубоком сне надо предположить, по крайней мере, функциональное нарушение соотношения, установленного в нервной системе между возбуждением и двигательной реакцией. Так что сновидение всегда будет состоянием духа, при котором внимание не удерживается чувственно-двигательным равновесием тела. Становится все более и более вероятным, что эта ослабленность нервной системы зависит от отравления ее элементов не выделенными продуктами нормальной деятельности в состоянии бодрствования. Но ведь сновидение во всех отношениях подобно помешательству. Не только в своих психологических симптомах помешательство во всем напоминает сон до такой степени, что сравнение этих двух состояний стало банальным; но при-

чиной помешательства является, по-видимому, также мозговое истощение, причиненное, как и нормальная усталость, накоплением специфических ядов в нервной системе\*. Известно, что помешательство часто следует за инфекционными болезнями, и что, к тому же, можно ядовитыми веществами вызвать все его явления\*\*. Не вероятно ли, поэтому, что нарушение умственного равновесия в помешательстве зависит просто от пертурбаций чувственно-двигательных отношений, установленных в организме? Этой пертурбации было бы достаточно, чтоб создать род психического головокружения, повлиять так, чтоб память и внимание потеряли соприкосновение с действительностью. Прочитайте описания начала болезни, сделанные некоторыми помешанными: они часто испытывают чувство странности или, как они говорят, «не реальности», как будто воспринимаемые вещи теряют для них рельеф и прочность\*\*\*. Если наш анализ верен, то конкретное чувство наличной реальности состоит в сознании нами движений, которыми наш организм естественно отвечает на возбуждения; так что, когда соотношение между ощущениями и движениями нарушается, чувство реального слабеет или исчезает.

Здесь, конечно, пришлось бы сделать много различий не только между разными формами помешательства, но и между настоящим помешательством и теми расщеплениями личности, которые совре-

---

\* Эта мысль была недавно высказана разными авторами. Систематическое изложение ее можно найти в работе Cowles'a, *The mechanism of insanity* (*American Journal of Insanity*, 1890—91)

\*\* См. особенно Moreau de Tours. *Du hachish*. Paris, 1845.

\*\*\* Ball. *Lecons sur les maladies mentales*. Paris, 1890, стр. 608 и след. — См. интересный разбор: *Visions, a personal narrative*. (*Journal of mental science*, 1896, стр. 284).

менная психология так интересно с ними сблизила \*. В этих болезнях личности, по-видимому, группы воспоминаний отделяются от центральной памяти и лишаются своей солидарности с другими воспоминаниями. Но редко, чтоб в этих случаях не наблюдались также разобщения чувствительности и движений \*\*. Мы не можем не видеть в этих последних явлениях настоящего материального субстрата первых. Если верно, что вся наша умственная жизнь опирается на свое острие, т. е. на чувственно-двигательные функции, которыми она вдвигается в наличную действительность, умственное равновесие будет различным образом нарушено, смотря по различным расстройствам этих функций. Наряду с поражениями, захватывающими общую жизненность чувственно-двигательных функций, ослабляющими и уничтожающими то, что мы назвали чувством реального, есть другие поражения, кои выражаются в механическом, а уже не в динамическом, уменьшении этих функций, — как будто некоторые чувственно-двигательные соединения просто отделяются друг от друга. Если гипотеза наша правильна, память, в этих двух случаях, будет различно затронута. В первом случае, ни одно воспоминание не исчезнет, но все воспоминания будут менее упрочены, менее устойчиво направлены к реальному, отсюда — настоящее нарушение умственного равновесия. Во втором случае равновесие нарушено не будет, но оно утратит свою полноту. Воспоминания сохраняют свой нормальный вид, но частью утратят свою солидарность, ибо их чувственно-двигательная основа, хотя и не будет, так сказать, химически изменена, но будет механически

---

\* Pierre Janet. *Les accidents mentaux*. Paris, 1894, стр. 292  
и след.

\*\* Pierre Janet. *L'automatisme psychologique*. Paris, 1889, стр. 95  
и след.

уменьшена. Как в том, так и в другом случае, впрочем, воспоминания не будут непосредственно затронуты или повреждены.

Предположение, что тело сохраняет воспоминания в форме особых мозговых приспособлений, что потери и уменьшения памяти состоят в более или менее полном разрушении этих механизмов, что экзальтация памяти и галлюцинации зависят, наоборот, от преувеличенной деятельности этих механизмов, не подтверждается, стало быть, ни рассуждением, ни фактами. Есть, правда, один случай, только один, где наблюдение, на первый взгляд, как бы вызывает такое предположение: мы имеем в виду афазию или вообще расстройство слухового и зрительного узнавания. Это единственный случай, где можно установить постоянное место болезни, в определенной извилине мозга; но это именно случай также, где мы не видим механического и сейчас же окончательного уничтожения тех или иных воспоминаний, но скорее постепенное и функциональное ослабление всей заинтересованной памяти. Мы объяснили, как мозговое поражение может причинить это ослабление, причем совсем не надо предполагать запаса воспоминаний, накопленных в мозгу. Здесь, на самом деле, поражены чувственные и двигательные области, соответствующие восприятию этого рода, и особенно придатки, позволяющие приводить их в движение изнутри, так что воспоминанию не за что ухватиться и оно наконец становится практически бессильным: ведь в психологии бессилие значит бессознательность. Во всех других случаях наблюдаемое или предполагаемое поражение, никогда точно не локализованное, действует пертурбацией, вносимой ею в совокупность чувственно-двигательных соединений, изменяя эту массу или раздробляя ее: отсюда — нарушение или упрощение умственного равновесия и, по рикошету, беспорядочность или разъединение воспоминаний. Доктри-

на, делающая из памяти непосредственную функцию мозга, доктрина, поднимающая неразрешимые теоретические затруднения, доктрина, сложность коей превосходит всякое воображение, а выводы несовместимы с данными внутреннего наблюдения, не может, стало быть, рассчитывать и на поддержку со стороны патологии мозга. Все факты и все аналогии говорят в пользу теории, которая смотрит на мозг только как на посредника между ощущениями и движениями, принимает совокупность ощущений и движений за крайнее острие умственной жизни, острие непрерывно задвигающееся в ткань событий; той теории, которая, приписывая телу единственную функцию ориентировать память к реальному и соединять ее с настоящим, смотрит на самую память как на нечто абсолютно независимое от материи. В этом смысле, мозг содействует вызову полезного воспоминания, но еще гораздо больше временному отстранению всех других воспоминаний. Мы не понимаем, как память могла бы вместиться в материю, но мы хорошо понимаем, — по глубокому выражению одного современного философа — что «материальность влагает в нас забвение»<sup>\*</sup>.

---

\* Ravaisson. *La philosophie en France au XIX-e siècle*. 3-е изд., стр. 176.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### О РАЗГРАНИЧЕНИИ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВ. ВОСПРИЯТИЕ И МАТЕРИЯ. ДУША И ТЕЛО

Из трех первых глав этой книги вытекает одно общее заключение: тело, всегда направленное в сторону действия, имеет основной функцией ограничивать, ввиду действия, жизнь духа. По отношению к представлениям оно орудие выбора, и только выбора. Оно не может ни порождать умственного состояния, ни быть причиной его. Местом, которое оно занимает в каждое мгновение во вселенной, наше тело отличает части и аспекты материи, на кои мы могли бы воздействовать: наше восприятие, точно измеряющее наше виртуальное действие на вещи, ограничивается, таким образом, предметами, которые актуально влияют на наши органы и готовят наши движения. Роль тела не накапливать воспоминания, но просто выбрать полезное воспоминание, то, что дополнит и осветит наличное положение ввиду действия, ясно выявляя его в сознании действительной силой, которую оно ему придаст. Правда, что этот второй выбор гораздо менее строг, чем первый, потому что прошлый опыт наш, опыт индивидуальный, а не общий уже потому, что мы всегда имеем много различных воспоминаний, которые одинаково могут входить в рамки того же актуального положения, и что природа не может здесь, как в случае восприятия, применять непреложное правило для отграничения представлений. На этот раз фантазии предоставлен некоторый простор; и, если животные, рабы материальных нужд, ею не пользуются, ум

человека, наоборот, по-видимому, непрерывно бьется всем запасом своей памяти в дверь, которую ему приоритетит тело: отсюда игра фантазии и работа воображения, все это вольности духа с природою. И тем не менее верно, что ориентировка сознания в сторону действия, по-видимому, составляет основной закон нашей психологической жизни.

В сущности, мы могли бы на этом остановиться, ибо предприняли эту работу с целью определить роль тела в жизни духа. Но, с одной стороны, мы попутно подняли метафизическую проблему, которую не можем решить оставить нерассмотренной, а с другой — наши исследования, хотя и чисто психологические, несколько раз указали нам если не средство разрешить задачу, то, по крайней мере, сторону, с которой к ней можно подойти.

Проблема эта не что иное, как проблема связи души с телом. Она становится перед нами в острой форме, так как мы делаем глубокое различие между материей и духом. И мы не можем признать ее неразрешимой, потому что определяем дух и материю положительными признаками, а не отрицаниями. Чистое восприятие действительно поставило бы нас в материю, а с памятью мы на самом деле проникаем в дух. С другой стороны, то же психологическое наблюдение, которое открыло нам различие между материей и духом, делает нас свидетелями их соединения. А тогда или наш анализ ложен в своей исходной точке, или он должен помочь нам выйти из им же вызванных затруднений.

Во всех доктринах неясность проблемы зависит от двойной антитезы, возведенной нашим разумением, между протяженным и непротяженным, с одной стороны, количеством и качеством, с другой. Несомненно, что дух прежде всего противопоставляется материи, как чистое единое делимой множественности, что, более того, восприятия наши состоят

из разнородных качеств, между тем как воспринятая вселенная состоит, по-видимому, из однородных и исчислимых изменений. С одной стороны, получается, стало быть, непротяженность и качество, а с другой — протяженность и количество. Мы отвергли материализм, мнящий вывести первый член из второго; но мы не можем принять и идеализм, желающий, чтоб второй был просто построением первого. Против материализма мы утверждаем, что восприятие бесконечно переходит за мозговое состояние; но мы пытались установить, против идеализма, что материя со всех сторон переходит за пределы нашего представления о ней, представления, которое дух, так сказать, избрал разумным выбором. Из этих двух противоположных доктрин, одна приписывает телу, другая — духу дар истинного творчества; по первой, мозг наш порождает представление, по второй — разум наш чертит план природы. Против обеих этих доктрин мы и призываем одно свидетельство — свидетельство сознания, показывающего нам, что тело наше есть образ, как другие образы, и что в нашем разуме есть некая способность разъединять, различать и логически противопоставлять, но не творить или строить. Так, оставаясь добровольными пленниками психологического анализа и, следовательно, здравого смысла, истощив конфликты, поднимаемые вульгарным дуализмом, мы загородили все выходы, которые могла открыть нам метафизика.

Но именно потому, что мы довели дуализм до крайности, анализ наш, может быть, разъединил его противоречивые элементы. Но если это так, то теория чистого восприятия, с одной стороны, и теория чистой памяти, с другой, приготавливают путь к сближению между непротяженным и протяженным, между качеством и количеством. Принимая мозговое состояние как начало действия, а совсем не как условие восприятия, мы поставили вне образа нашего тела

воспринятые образы вещей; стало быть, мы переместили восприятие в самые вещи. Но тогда, если восприятие наше составляет часть вещей, вещи причастны природе нашего восприятия. Материальная протяженность не есть уже, и не может быть, той множественной протяженностью, о которой говорит геометрия; она скорее походит на нераздельную растяженность нашего представления. Это значит, что анализ чистого восприятия позволил нам усмотреть в идее *растяженности* возможное сближение между протяженным и непротяженным.

Но наша концепция чистой памяти должна была бы параллельно вести к смягчению второго противоположения, противоположения качества и количества. Мы радикально отделили чистое воспоминание от мозгового состояния, которое его продолжает и делает действенным. Память, стало быть, ни в какой мере не есть эманация материи; наоборот, материя, — какую мы усваиваем ее в конкретном восприятии, всегда имеющем известную длительность, — в большей мере происходит из памяти. Где в точности разница между разнородными качествами, которые следуют друг за другом в нашем конкретном восприятии, и однородными изменениями, которые наука ставит позади этих восприятий, в пространстве? Первые прерывны и не могут выводиться одни из других; вторые, наоборот, подлежат вычислению. Но для этого совершенно не нужно делать из них чистые количества: это было бы равносильно сведению их на ничто. Достаточно, чтоб разнородность была, так сказать, растворена, чтоб стать, с нашей точки зрения, величинной, которую практически можно отбросить. Но если каждое конкретное восприятие, как бы коротко оно ни было, по предположению, есть уже синтез, сделанный памятью, бесконечности последовательных «чистых восприятий», то не следует ли думать, что разнородность чувственных качеств зависит от их сжатия

в нашей памяти, тогда как относительная однородность объективных изменений зависит от их естественного раздвижения? Но нельзя ли, приняв во внимание *напряжение*, сблизить между собою количество и качество, подобно тому, как мы сблизили протяженность и непротяженность, приняв во внимание растяженность?

Прежде чем вступить на эту дорогу, сформулируем общий принцип метода, который мы желали бы применить. Мы уже пользовались им как в предыдущей работе, так и в этой.

Что обыкновенно называют *фактом*, не есть та реальность в том виде, в каком она предстала бы перед непосредственной интуицией, но есть приспособление реального к интересам практики и к требованиям общественной жизни. Чистая интуиция, внешняя или внутренняя, дает нераздельную непрерывность. Мы дробим ее на сопоставленные элементы, которые соответствуют то отдельным *словам*, то независимым *предметам*. Но именно потому, что мы разбили первоначальное единство нашей интуиции, мы и чувствуем потребность установить между разобщенными членами связь, которая может быть теперь лишь внешней и прибавленной. Живое единство, что рождается из внутренней непрерывности, мы заменяем искусственным единством пустой рамки, косной, как члены, которые она держит в соединении. Эмпиризм и догматизм, в сущности, оба исходят из явлений таким путем восстановленных, с той разницей, что догматизм более придерживается формы, тогда как эмпиризм более придерживается содержания. Эмпиризм, смутно чувствуя искусственность отношений, соединяющих члены между собою, придерживается членов, отбрасывая отношения. Его ошибка не в том, что он слишком высоко ценит опыт, но в том, наоборот, что он подставляет вместо истинного опыта, рождающегося от непосредственного соприкосновения

духа с его объектом, опыт расчлененный и, следовательно, несомненно извращенный, во всяком случае, измененный для большей легкости действия и слова. Именно потому что это дробление реального на части произошло ввиду требований практической жизни, оно не шло по внутренним линиям строения вещей; поэтому эмпиризм не может дать удовлетворения уму в великих проблемах и даже, когда он доходит до полного сознания своего принципа, воздерживается от их постановки. Догматизм открывает и выясняет трудности, на которые эмпиризм закрывает глаза; но сам, в сущности, ищет решения на пути, намеченном эмпиризмом. Он также принимает те отдельные, прерывистые явления, которыми довольствуется эмпиризм и просто старается сделать их синтез, который, не будучи дан в интуиции, по необходимости всегда будет иметь произвольную форму. Другими словами, если метафизика ничто иное, как построение, есть много метафизик, одинаково вероятных и, следовательно, друг друга опровергающих, и последнее слово остается за критической философией, которая рассматривает всякое познание как относительное и сущность вещей как непознаваемое. Таков и был в самом деле правильный ход философской мысли: мы исходим из того, что считаем опытом, мы пробуем разные возможные комбинации между осколками, его, по-видимому, составляющими, и, перед признанной неустойчивостью всех наших построений, отказываемся строить. Но следовало бы сделать последнюю попытку. Следовало бы брать опыт у его источника или, скорее, выше того решительного *поворота*, где склоняясь в направлении нашей пользы, он становится чисто *человеческим* опытом. Бессилие спекулятивного разума, показанное Кантом, зависит, может быть, в сущности от бессилия ума, подчиненного некоторым необходимостям телесной жизни и работающего над материей, которую надо было дезоргани-

зовать для удовлетворения наших потребностей. Тогда наше познание вещей соответствует уже не основному строю нашего духа, но только его поверхностным и приобретенным привычкам, внешней его форме, заимствованной от наших телесных функций и наших низших потребностей. Относительность познания не будет окончательным фактом. Разрушая то, что сделали эти потребности, мы восстановили бы интуицию в ее первобытной чистоте и мы вошли бы в соприкосновение с реальным.

В своем применении метод этот представляет значительные и постоянно возобновляющиеся трудности, потому что он требует для решения каждой новой проблемы совершенно нового усилия. Трудно отказаться от некоторых привычек мысли и даже восприятия, но это только отрицательная часть работы; а когда она сделана, когда поставишь себя на то, что мы назвали *поворотом* опыта, когда воспользуешься зарождающимся проблеском, что освещает переход *непосредственного* к *полезному* и начинает зарю нашего человеческого опыта, остается еще восстановить из бесконечно малых элементов видимой таким образом реальной кривой форму самой этой кривой, которая продолжается во мраке за ними. В этом смысле задача философа, как мы ее понимаем, очень похожа на задачу математика, определяющего функцию, исходя из дифференциала. Последний шаг философского исследования это настоящая работа интегрирования.

Мы пробовали некогда применить этот метод к проблеме сознания, и нам казалось, что утилитарная работа духа в том, что касается восприятия нашей внутренней жизни, состоит в известном преломлении чистого дления (*durée*) в пространстве, преломления, позволяющего нам разделять наши психологические состояния, приводить их к форме все более безличной, придавать им название, нако-

нец, вводить их в течение общественной жизни. Эмпиризм и догматизм берут внутренние состояния в этой прерывистой форме, первый, придерживаясь самих этих состояний, не видит в я ничего кроме ряда сопоставленных фактов; второй, понимая необходимость связи, может найти эту связь только в форме или в силе, — в форме внешней, в которую вложится агрегат, в силе неопределенной и, так сказать, физической, обеспечивающей сцепление элементов. Отсюда две противоположные точки зрения на вопрос о свободе: по детерминизму, акт есть равнодействующая механического соединения между собою элементов; для их противников, если бы они строго согласовались со своим принципом, свободное решение должно бы было быть произвольным *fiat*, настоящим творением *ex nihilo*. Мы думаем, что возможна и третья точка зрения. Она состоит в том, чтоб поместиться в чистое дление, течение которого непрерывно, и где переходишь, нечувствительными градациями, от одного состояния к другому: непрерывность реально прожитая, но искусственно разложенная для наибольшего удобства обиходного познания. Тогда нам кажется, что действие вытекает из своих antecedентов эволюцией *sui generis*, так что в данном действии находишь antecedенты его объясняющие, но оно все же прибавляет нечто абсолютно новое, будучи новым развитием из них, как плод из цветка. Свобода этим нисколько не сводится, как то говорили, к чувственной самопроизвольности. Это можно сказать, самое большее, про животное, у которого психологическая жизнь по преимуществу аффективна. Но у человека, существа мыслящего, свободный акт может быть назван синтезом чувств и идей, и эволюция, к нему ведущая, может быть названа разумной эволюцией. Прием этого метода состоит просто в отличении точки зрения обыденного или полезного познания от точки зрения истинно-

го познания. Дление, в котором мы зрители своих действий и где полезно, чтоб мы на себя смотрели, есть дление, элементы которого разъединяются и составляются; но дление, в котором мы действуем, есть дление, где наши состояния сливаются одно с другим, и туда мы должны стремиться перенестись мыслью, в том исключительном и единственном случае, когда мы спекулируем над интимной природой действия, т. е. над теорией свободы.

Применим ли метод этого рода к проблеме материи? Спрашивается, можно ли в этой «разнородности явлений», о которой говорил Кант, ухватить неопределенную массу, с тенденцией экстенсивности, вне однородного пространства, к которому она прикладывается и посредством которого мы ее подразделяем, подобно тому, как наша внутренняя жизнь может отделяться от бесконечного и пустого времени, чтобы стать чистым длением. Конечно, попытка освободиться от основных условий внешнего восприятия была бы химерична. Но вопрос в том, относятся ли некоторые условия, обыкновенно принимаемые нами за основные, скорее к пользованию вещами, к практическому их употреблению, чем к чистому знанию, которое мы можем о них иметь. В частном случае, в том, что касается конкретной протяженности, непрерывной, разнообразной и в то же время организованной, можно оспаривать, что она солидарна с аморфным и косным пространством, которое под него подведено, пространством, которое мы бесконечно разделяем, где мы произвольно вырезаем фигуры и где само движение, мы говорили в другом месте, может казаться только множественностью мгновенных положений, так как ничто не может обеспечить связь прошлого с настоящим. Стало быть, можно было бы, в некоторой мере, освободиться от пространства, не выходя из протяженности, и в этом был бы возврат к непосредственному, потому что мы действительно воспринимаем протяженность, между тем как мы толь-

ко составляем концепцию пространства на манер схемы. Не поставят ли этому методу в упрек, что он произвольно приписывает непосредственному познанию привилегированное значение? Но какие причины имеем мы сомневаться в каком-либо знании? Нам и в голову не пришло бы сомневаться без трудностей и противоречий, указываемых размышлением, без проблем ставимых философией. Не нашло ли бы свое оправдание и доказательство непосредственное познание, если бы можно было доказать, что эти трудности, эти противоречия, эти проблемы порождаются в особенности символическим изображением, которое стало для нас самой реальностью и пробить толщу которой может только чрезвычайное усилие? Между результатами, к которым применение этого метода может вести, выберем теперь же относящиеся к нашему исследованию. Мы ограничимся к тому же лишь указаниями; здесь не может быть речи о построении теории материи.

\* \* \*

*1. Всякое движение, поскольку оно есть переход от покоя к покою, абсолютно неделимо.*

Здесь дело не в гипотезе, но в факте, который вообще покрывается гипотезой.

Вот, например, моя рука покоящаяся в точке  $A$ . Я переносу ее в точку  $B$ , разом пробегая промежуток. В этом движении есть зараз образ, поражающий мое зрение, и акт, усваиваемый моим мышечным сознанием. Сознание дает мне внутреннее ощущение простого факта, ибо в  $A$  был покой, в  $B$  опять покой, а между  $A$  и  $B$  вмещается акт неразделимый или, по крайней мере, не разделенный, переход от покоя к покою, что и есть само движение. Но зрение мое воспринимает движение в виде пробегаемой линии  $AB$ , и линия, как всякое пространство, бесконечно разлагаема. С первого взгляда кажется, что я могу счи-

тять произвольно это движение как множественность или как нераздельность, смотря по тому, рассматриваю ли его в пространстве или во времени, как образ рисующийся вне меня или как акт, который я сам совершаю.

Тем не менее, отстраняя всякую предвзятую мысль, я очень скоро убеждаюсь, что выбора мне нет, что даже зрение мое воспринимает движение от *A* к *B*, как нераздельное целое, и если оно что-либо разделяет, то линию, по которой движение происходит, но не по ней происходящее движение. Совершенно верно, что рука моя идет от *A* к *B*, проходя через промежуточные положения, что эти промежуточные точки похожи на этапы, в каком угодно числе расположенные вдоль всего пути; но между так обозначенными разделениями и этапами, в настоящем смысле, та капитальная разница, что на этапе останавливаются, а здесь движущееся проходит дальше. Но ведь прохождение есть движение, а остановка — неподвижность. Остановка прерывает движение, прохождение составляет одно целое с самим движением. Когда я вижу, как движущееся проходит через какую-нибудь точку, я понимаю, без сомнения, что оно *могло бы* там остановиться; и даже если оно там не останавливается, я склонен рассматривать его прохождение как бесконечно малый покой, потому что мне нужно время, чтоб об этом подумать, но здесь останавливается только мое воображение, а роль движущегося заключается, наоборот, в том, чтоб двигаться. Так как всякая точка пространства кажется мне неподвижной, мне трудно не приписать самому движущемуся неподвижность точки, с которой оно для меня на мгновение совпадает. Тогда мне кажется, что я восстанавливаю все движение, что движущееся останавливалось на бесконечно малое время на всех точках своей траектории. Но не надо смешивать данные чувств, воспринимающих движение, с искусственными приема-

ми ума, который его восстанавливает. Чувства, предоставленные самим себе, представляют нам реальное движение между двумя реальными остановками, как нечто целое и нераздельное. Разделение есть продукт воображения, функция которого именно в том, чтобы задерживать движущиеся образы нашего обычного опыта, как мгновенная молния, освещающая ночью сцену бури.

Здесь мы постигаем, в самом ее принципе, иллюзию сопровождающую и покрывающую восприятие реального движения. Движение видимо состоит в переходе из одной точки в другую и, следовательно, в прохождении пространства. Но так как пройденное пространство делимо до бесконечности и так как движение, так сказать, прилегает к линии, которую оно пробегает, оно кажется солидарным с этой линией и делимым, как она. Разве не оно начертало ее? Не проходило ли оно поочередно последовательный ряд ее точек? Да, несомненно, но точки эти реальны только в начертанной линии, т. е. линии неподвижной; и тем что вы представляете себе движение поочередно в этих разных точках, вы его непременно там останавливаете; ваши последовательные положения, в сущности, только воображаемые остановки. Вы подставляете траекторию вместо пути, и так как под путь подводится траектория, вам кажется, что он с ней совпадает, но как может *ход* совпадать с *вещью*, движение с неподвижностью?

Иллюзия здесь облегчается еще и тем, что мы различаем моменты в течении дления, как положения на пути движущегося. Если предположить, что движение от одной точки до другой составляет нераздельное целое, то движение это все же наполняет собою определенное время, и стоит только отделить от этого дления одно неделимое мгновение, чтобы движущееся заняло в этот точный момент некое положение, которое отделится, таким образом, от остальных. Неде-

лимость движения предполагает стало быть, невозможность мгновения. Весьма краткий анализ идеи дления покажет нам зараз, почему мы приписываем длению мгновения и как не может в нем быть этих мгновений. Возьмем простое движение, как путь моей руки, когда она перемещается из *A* в *B*. Путь этот дан моему сознанию как нераздельное целое. Он конечно длится; но дление его, совпадающее с внутренним аспектом, который он принимает в моем сознании, цельно и нераздельно, как он сам. Представляясь, как движение, фактом простым, он образует в пространстве траекторию, которую я могу рассматривать для упрощения вещей, как геометрическую линию; концы этой линии, как абстрактные границы, уже не линии, но нераздельные точки. Но если линия, которую начертало движущееся, измеряет для меня дление его движения, почему точка, где кончается эта линия, не могла бы символизировать конца этого дления? И если эта точка есть неделимое дления, то как не закончить дление пути неделимым дления? Так как целая линия представляет все дление, части этой линии должны соответствовать, казалось бы, частям дления, и точки линии моментам времени. Неделимые дления или моменты времени порождаются, стало быть, потребностью в симметрии, к ним приходят естественно, раз от пространства требуют интегрального представления о длении. Но именно в этом и заключается заблуждение. Если линия *AB* символизирует протекшее дление движения от *A* до *B*, то, будучи неподвижной, она отнюдь не может представлять движения совершающегося, дления протекающего; а из того, что линия эта делима на части, что она заканчивается точками, не следует заключать, ни что соответственное дление состоит из отдельных частей, ни что оно ограничено мгновениями.

Аргументы Зенона Элейского выведены только из этой иллюзии. Все состоит в том, чтобы заставить вре-

мя и движение совпасть с линией, которая под них подведена и придать им те же подразделения, т. е. обращаться с ними, как с этой линией. В этом смещении Зенона поощрял здравый смысл, который переносит обыкновенно на движения свойства его траектории, а также и язык, который всегда выражает в терминах пространства движение и его длительность. Но здравый смысл и язык здесь в своем праве и даже, так сказать, выполняют свой долг, ибо рассматривая всегда совершение (*le devenir*) как *вещь* для использования, они могут не заботиться о внутренней организации движения, как рабочему нечего думать о молекулярном строении его инструментов. Принимая, что движение делимо, как его траектория, здравый смысл выражает просто два факта, единственно значительные для практической жизни: 1) что всякое движение очерчивает пространство; 2) что во всякой точке этого пространства движущееся *могло бы* остановиться. Но философ, рассуждающий над внутренней природой движения, должен вернуть ему подвижность, составляющую его сущность, а этого-то Зенон и не делает. По первому аргументу (дихотомия) движущееся тело предполагают в покое, чтобы затем рассматривать лишь этапы, в неопределенном числе, на линии, которую оно должно пройти, и нам говорят: вы не можете определить, как оно пройдет этот промежуток. Но этим просто доказывается, что невозможно *a priori* строить движение из неподвижностей, в чем никто никогда не сомневался. Здесь только один вопрос: раз движение дано как факт, нет ли, так сказать, ретроспективной нелепости в том, что им пройдено бесконечное число точек. Но это нам представляется вполне естественным, так как движение есть нераздельный факт или ряд нераздельных фактов, между тем как траектория бесконечно делима. Во втором аргументе (Ахиллес) соглашаются дать движение, его даже приписывают двум движущимся телам, но, все по тому же

заблуждению, желают, чтобы движения эти совпадали с их траекторией и были, как она, произвольно разлагаемы. Тогда, вместо того чтоб признать, что черепаха идет черепашьим шагом, а Ахиллес шагами Ахиллеса, так что через некоторое число этих действий или нераздельных скачков, Ахиллес перегонит черепаху, считают себя в праве разложить, по произволу, и движения Ахиллеса и движения черепахи: забавляются, таким образом, постройкой этих двух движений по произвольному закону их образования, несовместимому с основными условиями подвижности. Тот же софизм еще очевиднее в третьем аргументе (Стрела). Из того, что можно на траектории метательного снаряда определять точки, заключают, что с полным правом можно различать нераздельные моменты во времени пути. Но изо всех аргументов Зенона, может быть, наиболее поучителен четвертый (Ристалище), которым напрасно, по нашему мнению, пренебрегали; нелепость его тем очевиднее, что в нем с полной откровенностью развит постулат замаскированный в трех других<sup>\*</sup>. Не вдаваясь в спор, которому здесь не

---

\* Напомним вкратце этот аргумент. Дано движущееся тело, которое перемещается с известной скоростью и проходит, одновременно, перед двумя телами, из которых одно неподвижно, а другое движется ему навстречу с одинаковой с ним скоростью. В то время, как это движущееся тело проходит известную длину неподвижного тела, оно естественно пройдет двойную длину тела движущегося ему навстречу. Отсюда Зенон заключает, что «одна длительность вдвое более самой себя». Пустое рассуждение, говорят, потому что Зенон не принимает во внимание, что скорость в одном случае вдвое больше, чем скорость в другом. В этом мы согласны; но как, скажите пожалуйста, он может это заметить? Что движущееся тело проходит, в одно и то же время, две различные длины двух тел, из которых одно находится в покое, а другое в движении, это ясно для того, кто из дли-

место, просто констатируем, что непосредственно воспринятое движение есть очень ясный факт, и что трудности или противоречия, указанные Элейской школой, гораздо менее касаются самого движения, чем искусственного и не жизнеспособного построения движения умом. Выведем заключение из всего предшествующего:

II. *Существуют реальные движения.*

Математик, точнее выражая идею здравого смысла, определяет положение расстоянием от точек отправления или осей, а движение — изменением расстояния. В движении, стало быть, он имеет дело только с изменениями длины; а так как абсолютные величины изменяющегося расстояния, между какой-нибудь точкой и осью, например, выражают одинаково как перемещение оси по отношению к точке, так и перемещение точки по отношению к оси, он безразлично будет приписывать одной и той же точ-

---

тельности делает род абсолюта (*дление*) и помещает его или в сознание, или в нечто, что причастно сознанию. Пока *определенная* часть этого сознательного или абсолютного дления протекает, то же движущееся тело пройдет, вдоль обоих тел, два пространства двойные одно для другого, и из этого нельзя будет заключить, что одно дление двойное для самого себя, так как дление остается как нечто независимое и от одного и от другого пространства. Ошибка Зенона, во всей его аргументации, именно в том, что он оставляет в стороне истинное дление и рассматривает только его объективный след в пространстве. Почему тогда оба следа, оставленные одним и тем же движущимся телом, не заслуживают одинакового внимания, как меры времени? И как им не представлять того же дления, если даже они двойные одно другого? Заключая, что одна длительность «двойная для самой себя», Зенон оставался в логике своей гипотезы и четвертый его аргумент стоит ровно столько, сколько и три остальные.

ке или покой, или подвижность. Стало быть, если движение сводится к изменению расстояния, один и тот же предмет становится подвижным или неподвижным, смотря по точке, к которой его относят, и абсолютного движения нет.

Но вещи принимают уже иной вид, когда от математики мы переходим к физике, и от абстрактного изучения движения к конкретным изменениям, совершающимся во вселенной. Если мы можем, по произволу, приписывать покой или движение каждой материальной точке, взятой в отдельности, остается тем не менее верным, что аспект материальной вселенной изменяется, что внутреннее очертание всякой реальной системы меняется, что тут нам уже нет выбора между покоем и подвижностью: какова бы ни была его внутренняя причина, движение становится неоспоримой реальностью. Примем, что нельзя сказать, какие части целого двигаются, тем не менее в целом есть движение. Поэтому не следует удивляться, что те же мыслители, которые рассматривают всякое отдельное движение как относительное, говорят о совокупности движения как об абсолюте. Это противоречие было найдено у Декарта, который, дав положению об относительности самую радикальную форму, утверждая, что всякое движение «обоюдно» (*réciproque*)<sup>\*</sup>, формулирует законы движения так, как если бы движение было абсолютно<sup>\*\*</sup>. Лейбниц и другие после него указывали на это противоречие<sup>\*\*\*</sup>: оно зависит просто оттого, что Декарт говорит о движении, как физик, определив его, сначала, как геометр. Для геометра всякое движение относительно; это только значит, по-нашему, *что нет математического символа, способного выразить, что*

---

\* Descartes. *Principes*. II, 29.

\*\* Descartes. *Principes*. II-e partie § 37 и след.

\*\*\* Leibnitz. *Specimen dynamicum*. (Mathem. Schriften. Gerhardt, 2-я секция, 2-й том, стр. 246).

движется движущееся, а не оси и точки, к которым его относят. И это понятно, потому что символы, предназначенные всегда для измерений, могут выражать только расстояния. Но никто серьезно не будет оспаривать, что есть реальное движение, иначе ничто не изменялось бы во вселенной и особенно было бы совершенно непонятно, что означает сознание наших собственных движений. В своем споре с Декартом, Мор шутливо намекал на этот последний пункт: «Когда я сижу покойно, а другой, удалившись на тысячу шагов, красен от усталости, несомненно, что именно он движется и что именно я отдыхаю»<sup>\*</sup>.

Но если есть абсолютное движение, можно ли продолжать рассматривать движение, только как изменение места? Тогда следует возвести разнообразие мест в абсолютную разницу, и различать абсолютные положения в абсолютном пространстве. Ньютон доходил до этого<sup>\*\*</sup>, за ним следовал и Эйлер<sup>\*\*\*</sup> и другие. Но можно ли это вообразить или понять? Одно место абсолютно отличалось бы от другого только своим качеством или своим отношением к целому пространства, так что, по этой гипотезе, пространство оказалось бы составленным из разнородных частей или конечным. Но конечному пространству мы дали бы границей другое пространство, а под разнородным пространством мы вообразили бы однородное пространство его поддерживающее; в обоих случаях мы неизбежно вернулись бы к однородному и неопределенному пространству. Стало быть, мы не можем не рассматривать каждое место как относительное и не верить в существование абсолютного движения.

Нам скажут тогда, что реальное движение отличается от движения относительного тем, что оно имеет

\* H. Morus. Scripta philosophica. 1679, т. II, стр. 248.

\*\* Newton. Principia (изд. Thomson'a, 1871, стр. 6 и след.).

\*\*\* Euler. Theoria motus corporum solidorum. 1765, стр. 30—33.

реальную причину, исходит из силы. Но надобно условиться в значении этого последнего слова. В науках изучающих природу, сила есть лишь функция массы и скорости; она измеряется сообразно ускорению; ее знают, ее высчитывают только по движениям, которые, предполагается, она производит в пространстве. Будучи солидарной с этими движениями, она разделяет их относительность. И физики, которые ищут принцип абсолютного движения в силе, таким образом определяемой, логикой своей системы приводят к гипотезе абсолютного пространства, которого желали сначала избежать\*. Приходится, стало быть, обратиться к метафизическому смыслу слова и обосновать движение, воспринимаемое в пространстве, глубокими причинами, аналогичными тем, которые сознание наше улавливает в чувстве усилия. Но чувство усилия, относится ли оно к глубоким причинам? И не показано ли окончательным анализом, что это чувство есть не что иное, как сознание движений уже совершенных или начатых у периферии тела? Стало быть, мы тщетно старались бы основать реальность движения на причине от него отличной: анализ неизменно возвращает нас к самому движению.

Но зачем искать вне этого? Пока вы опираете движение на линию, им проходимую, одна и та же точка кажется вам поочередно, смотря по тому, к чему вы ее относите, то в покое, то в движении. Не то будет, если вы извлечете из движения подвижность, составляющую его сущность. Когда мой глаз дает мне ощущение движения, это ощущение есть реальность и что-нибудь действительно происходит: или предмет передвигается перед моим глазом, или мой глаз двигается перед предметом. Я тем более уверен в реальности движения, когда я произвожу его по желанию и когда мышечное чувство доводит его до сознания. Иначе

---

\* В частности Ньютон.

сказать, я касаюсь реальности движения, когда оно обнаруживается внутри меня, как изменение *состояния* или *качества*. Но в таком случае, почему не было бы так же, когда я воспринимаю изменения качеств в вещах? Звук абсолютно отличается от тишины, точно так же один звук от другого. Между светом и мраком, между цветами, между оттенками разница абсолютна. Переход от одного из них к другому также абсолютно реальное явление. Я держу, стало быть, оба конца цепи, мышечные ощущения во мне, чувственные качества материи вне меня, и ни в том, ни в другом случае я не улавливаю движение, — если есть движение, — как простое отношение: это — абсолют. Между этими двумя крайностями помещаются движения внешних *тел*, в собственном смысле слова. Как различить здесь кажущееся движение от движения реального? Про какой предмет, извне воспринятый, можно сказать, что он движется? Про какой, что он остается неподвижным? Поставить такой вопрос значит признать, что прерывность, установленная здравым смыслом между предметами независимыми один от другого, имеющими каждый свою индивидуальность, подобный личностям, есть различие обоснованное. При обратной гипотезе дело шло бы уже не о том, чтоб узнать, как в определенных *частях* материи происходят перемены положений, но о том, как совершается в *целом* переменна аспекта, переменна, природу которой оставалось бы, к тому же, определить. Сформулируем теперь же наше третье положение:

III. *Всякое разделение материи на независимые тела, с абсолютно определенными контурами, есть деление искусственное.*

Тело, т. е. независимый материальный предмет, представляется нам прежде всего как система качеств, где сопротивляемость и цвет — данные зрения и осязания — занимают центр и держат, так сказать, подвешенными все остальные. С другой стороны, данные

зрения и осязания суть именно те, которые очевиднее всего распространяются в пространстве, а существенный признак пространства непрерывность. Есть промежутки тишины между звуком, ибо слух не всегда занят; между запахами, между вкусами мы находим пустоты; обоняние и вкус функционируют, как будто случайно: наоборот, как только мы открываем глаза, все наше поле зрения окрашивается, и так как твердые тела, по необходимости, смежны одни с другими, наше осязание должно следовать по поверхности или краям предметов, никогда не встречая настоящего перерыва. Как разбиваем мы первоначально воспринятую непрерывность материального протяжения на отдельные тела, из которых каждое имеет свое вещество и свою индивидуальность? Конечно, эта непрерывность изменяет вид с минуты на минуту, но почему мы не констатируем просто изменение в целом, как при повороте калейдоскопа? Почему, наконец, мы ищем в подвижности целого намеченных путей, по которым следовали тела в движении? Нам дана *движущаяся непрерывность*, где все одновременно и изменяется, и остается; почему мы разделяем эти два выражения, постоянство и изменение, и представляем постоянство *телами*, а изменение *однородными движениями* в пространстве? Это не есть данное непосредственной интуиции; но это и не есть требование науки, потому что наука, наоборот, стремится вновь найти естественные сочетания вселенной, которую мы искусственно расчленили. Более того, доказывая взаимодействие всех материальных точек, наука возвращается вопреки видимостям, как будет показано, к идее всемирной непрерывности. Знание и сознание, в сущности, согласны, если рассматривать сознание в его наиболее непосредственных данных, а науку в ее отдаленнейших чаяниях. Откуда происходит непреодолимое стремление построить прерывистую материальную вселенную, из тел

с ясно вырезанными гранями, которые меняют место, т. е. отношение между собою?

Рядом с сознанием и с наукой стоит жизнь. Под принципами спекуляции, столь тщательно анализированными философами, кроются тенденции, изучением которых пренебрегли, а они объясняются просто необходимостью для нас жить, т. е. действовать. Присущая индивидуальным сознаниям, способность проявляться в отдельных действиях уже требует отдельных материальных зон, которые соответствовали бы живым телам: в этом смысле, мое собственное тело и, по аналогии с ним, другие живые тела суть то, что я лучше всего отличаю в непрерывности вселенной. Но раз это тело установлено и отличено, испытываемые им потребности приводят его к отличению и установлению других тел. У простейшего из живых существ питание требует искания, затем соприкосновения, наконец ряда усилий, направленных к одному центру: этот центр и станет именно независимым предметом, который должен служить пищей. Какова бы ни была природа материи, можно сказать, что жизнь установит в ней сразу первую прерывность, выражающую двойственность потребности и того, что должно служить для ее удовлетворения. Но потребность питания не единственная потребность. Другие потребности организуются вокруг нее, и все они имеют целью сохранение индивида или вида, и каждая из них приводит нас к различению, рядом с нашим собственным телом, тел независимых от него, к которым мы должны стремиться или которых должны избегать. Каждая из наших потребностей есть пучок света, направленный на непрерывность чувственных качеств и вырисовывающий там отдельные тела. Потребности наши могут быть удовлетворены только при условии вырезания в этой непрерывности одного тела, затем отграничивания других тел, с которыми это тело войдет в соотношение, как с личностями. Ус-

тановление этих совершенно особых отношений между частями, таким образом вырезанными из чувственной реальности, есть именно то, что мы называем *жизнью*.

Но если это подразделение реального гораздо менее соответствует непосредственной интуиции, чем основным потребностям жизни, как получим мы более близкое познание вещей, продолжая это деление еще дальше? Этим продолжают *жизненное движение*, отворачиваются от истинного познания. Вот почему грубый прием, состоящий в разложении тела на однородные с ним части, приводит нас в тупик, так как мы скоро чувствуем, что не способны понять, почему это деление должно остановиться, ни как оно могло бы продолжаться бесконечно. Он представляет собою на самом деле обыкновенную форму *полезного действия*, некстати перенесенную в область *чистого познания*. Никогда, стало быть, не объяснят частицами, каковы бы они ни были, простых свойств материи: самое большее проследят до этих частиц, искусственных, как само тело, действия и реакции этого тела относительно всех других тел. Такова именно цель химии. Она изучает менее *материю*, чем *тела*; и понятно, что она останавливается на атоме, обладающем всеми общими свойствами материи. Но материальность атома все более и более улетучивается под взглядом физика. Мы не имеем никаких причин, например, представлять себе атом в твердом, в жидком или газообразном состоянии или представлять себе взаимодействие атомов скорее как столкновение, чем как какое бы то ни было другое действие. Почему мы мыслим твердый атом и столкновения? Потому что твердые тела суть те, на которые мы легче всего можем воздействовать и которые наиболее интересуют нас в наших отношениях с внешним миром, и потому также, что соприкосновение есть, по видимости, единственное средство, которым мы располагаем, чтоб действовать нашим телом на другие тела.

Но весьма простые опыты доказывают, что никогда нет реального соприкосновения между двумя столкнувшимися телами<sup>\*</sup>; с другой стороны, твердость далеко не есть абсолютно определенное состояние материи<sup>\*\*</sup>. Твердость и столкновение, стало быть, приобретают свою видимую ясность от привычек и потребностей практической жизни. Такого рода образы не бросают никакого света на основу вещей.

К тому же, если есть истина, которую наука поставила вне всякого сомнения, то это именно взаимодействие всех частей материи. Между предполагаемыми молекулами тел действуют силы притяжения и отталкивания. Влияние тяготения распространяется через межпланетное пространство. Существует, стало быть, нечто между атомами. Скажут, что это уже не материя, а сила. Между атомами можно представить себе натянутые нити, их можно утончить, сделать невидимыми и даже, как думают, не материальными. Но к чему может служить этот грубый образ? Сохранение жизни требует, без сомнения, чтобы мы различали в нашем повседневном опыте *вещи* инертные и *действия*, совершаемые этими вещами в пространстве. Так как нам полезно определить место вещи, в той именно точке, где мы могли бы ее коснуться, ее осязаемые очертания становятся для нас ее реальной границей, и мы видим тогда в ее *действии* нечто, что от нее отделяется и от нее отличается. Но так как теория материи задается целью найти реальность под этими обычными образами, относящимися к нашим потребностям, она должна прежде всего отвлечься от этих образов. И мы действительно видим, что сила

---

\* См. по этому поводу: Maxwell. *Action at a distance* (Scientific papers. Cambridge, 1890, т. II стр. 313—314).

\*\* Maxwell. *Molecular constitution of bodies* (Scientific papers, т. II, стр. 618). — С другой стороны van der Waals доказал непрерывность жидкого и газообразного состояний.

и материя сближаются и соединяются по мере того, как физика углубляет изучение их проявлений. Сила материализуется, атом идеализуется, и оба эти понятия сходятся в общем пределе; вселенная, таким образом, вновь обретает свою непрерывность. Об атомах будут еще говорить; атом сохранит свою индивидуальность для нашего ума, его изолирующего; но твердость и инертность атома растворятся или в движениях или в линиях сил, взаимная солидарность которых восстановит всемирную непрерывность. К этому заключению, по необходимости, должны были прийти, исходя из совершенно разных точек, два физика этого века, глубже всех проникнувшие в строение материи — Томсон и Фарадей. Для Фарадея атом есть «центр сил». Под этим он разумеет, что индивидуальность атома состоит в математической точке, где скрещиваются линии сил, линии бесконечные, излучающиеся в пространстве и реально атом составляющие: каждый атом занимает, таким образом, употребляя его выражение, «всецелое пространство, на которое распространяется тяготение» и «все атомы взаимно проникаются»\*. Томсон, исходя из другого ряда идей, предполагает совершенную жидкость, непрерывную, однородную и несжимаемую, которая наполняет пространство; то, что мы называем атомом, есть кольцо неизменной формы, вихрящееся в этой непрерывности, его свойства зависят от его формы, его существование, а следовательно, и его индивидуальность, зависят от его движения\*\*. Но как в той, так и в другой гипотезе, мы видим, что по мере

---

\* Faraday. *A speculation concerning electric conduction*. (Philos. Magazine, 3-я серия, Vol. XXIV).

\*\* Thomson. On vortex atoms (Proc. of the Roy. Soc. of Edinb. 1867). — Гипотеза того же рода была высказана Graham'ом. *On the molecular mobility of gases* (Proc. of the Roy. Soc. 1863, стр. 621 и след.)

приближения к последним элементам материи, исчезает прерывность, которую наше восприятие установило на ее поверхности. Психологический анализ уже открыл нам, что эта прерывность зависит от наших потребностей; всякая философия природы находит ее, в конце концов, несовместимой с общими свойствами материи.

По правде сказать, вихри и линии сил в смысле физика не что иное, как удобные фигуры, предназначенные схематизировать его вычисления. Но философия должна спросить себя, почему эти символы удобнее других и позволяют идти дальше. Можем ли мы, работая с ними, настигнуть опыт, и не указывают ли нам понятия, им соответствующие, по крайней мере, направление, где надо искать представление о реальном? Но ведь направление ими указываемое не подлежит сомнению; они обнаруживают *видоизменения, пертурбации, изменения напряжения или энергии*, идущие по конкретному протяжению, и ничего другого. И в этом они в особенности стремятся приблизиться к чисто психологическому анализу движения, уже данному нами; анализ этот представлял нам движение не как простое изменение отношения между предметами, к которым оно приставлялось бы как случайность, но как реальность истинную и, в некотором роде, независимую. Ни наука, ни сознание не отвергнут, стало быть, это наше последнее положение:

*IV. Реальное движение есть скорее перенос состояния, чем вещи.*

Формулируя эти четыре положения, мы, в сущности, только постепенно сузили промежуток между двумя выражениями, противопоставляемыми одно другому, между качествами или ощущениями и движениями. На первый взгляд расстояние кажется недостижимым. Качества разнородны между собою, движения однородны. Ощущения, неделимые по

сущности, ускользают от измерения; движения, всегда делимые, отличаются измеримыми различиями направления и скорости. Привыкли помещать качество, в виде ощущений, в сознание, между тем как движение совершается, независимо от нас, в пространстве. Эти движения, слагаясь между собою, никогда не дадут ничего кроме движений; наше сознание, неспособное их коснуться, таинственным процессом выражает их в ощущениях, которые отбрасываются затем в пространство и покрывают, неизвестно как, движения, которые они выражают. Отсюда два различные мира, которые могут сообщаться лишь чудом: с одной стороны, движения в пространстве, с другой, сознание с ощущениями. Конечно, разница между качеством с одной стороны и чистым количеством с другой остается неустранимой, как мы сами это некогда показали. Но вопрос именно в том, представляют ли реальные движения только различия количества или они составляют само качество, которое вибрирует, так сказать, внутренне и скандирует свое собственное бытие зачастую в неисчислимом количестве моментов. Движение, изучаемое механикой, есть только абстракт или символ, общая мера, общий знаменатель, позволяющий сравнивать между собою все реальные движения; но движения эти, рассматриваемые сами по себе, неделимые, обладают длением, предполагают «до» и «после» и соединяют последовательные моменты времени нитью изменчивого качества, не лишенного аналогии с непрерывностью нашего собственного сознания. Не можем ли мы представить себе, например, что несовместимость двух воспринятых цветов зависит в особенности от сжатости дления, в котором сокращаются триллионы вибраций, ими совершаемых, в одно из наших мгновений? Если бы мы могли растянуть это дление, т. е. переживать его более медленным ритмом, не увидели ли бы мы, по мере замедления ритма, что краски

бледнеют и расплываются в последовательные впечатления, еще окрашенные, конечно, но все более и более приближающиеся к тому, чтоб слиться с чистыми колебаниями? Где ритм движения достаточно медлен, чтобы подходить к привычкам нашего сознания, — как, например, в низших нотах гаммы, — не чувствуем ли мы, что воспринятое качество само собою разлагается на повторные и последовательные колебания, связанные между собою внутренней непрерывностью? Сближению обыкновенно мешает привычка связывать движение с элементами, — атомами и другими, — которые вставляют свою твердость между самым движением и качеством, в которое оно сокращается. Так как наш ежедневный опыт показывает нам тела, которые двигаются, нам кажется, что для поддержания элементарных движений, к коим качества сводятся, потребны, по крайней мере, тельца (корпускулы). Движение является тогда для нашего воображения лишь случаем, рядом положений, изменением отношений; и так как это закон нашего представления, что устойчивое смещает неустойчивое, то главным и центральным элементом является для нас атом, движение которого только соединяет последовательные положения. Но эта концепция неудобна не только тем, что поднимает относительно атома все трудности проблемы, уже вызванные материей; ее ошибка не только в том, что она приписывает абсолютную ценность этому разделению материи, отвечающему, по видимости, главным образом потребностям жизни; она делает еще непонятным процесс, которым мы разом охватываем в восприятии и *состояние* нашего сознания, и *реальность*, независимую от нас. Такой смешанный характер нашего непосредственного восприятия, такое осуществившееся, по-видимому, противоречие есть главный теоретический довод, заставляющий нас верить во внешний мир, не совпадающий абсо-

лютно с нашим восприятием; а так как довод этот оставляется без внимания в доктрине, считающей ощущение совершенно разнородным с движениями, которых она является сознательным выражением, то эта доктрина должна бы, казалось, ограничиться ощущениями, из коих сделала единственное данное, а не присоединять к ним движений, которые, без возможности с ними соприкоснуться, являются бесполезным дубликатом. Так понимаемый реализм сам себя разрушает. В конце концов у нас нет выбора: если наше верование в более или менее однородный субстрат чувственных качеств обосновано, то исключительно помощью *акта*, который позволил бы нам уловить или угадать, *в самом качестве*, нечто переходящее за наше ощущение, как будто ощущение это чревато подозреваемыми, но не воспринятыми подробностями. Его объективность, т. е. тот плюс, который в нем содержится сверх того, что оно дает, будет заключаться тогда именно в огромной множественности движений, выполняемых им как бы внутри своей куколки. Оно разливается, неподвижное, по поверхности, но оно живет и вибрирует в глубине.

На самом деле, никто не представляет себе иначе отношения количества к качеству. Верить в реальности, отличные от реальностей воспринятых, это значит прежде всего признать, что порядок наших восприятий зависит не от нас, а от них. Стало быть, в совокупности восприятий занимающих данный момент, должна заключаться причина того, что произойдет в последующий момент; и механизм только точнее формулирует это верование, утверждая, что состояния материи могут выводиться одно из другого. Этот вывод, правда, возможен только в том случае, если под кажущейся разнородностью чувственных качеств, можно открыть однородные и измеримые элементы. Но, с другой стороны, если эти элементы

находятся вне качеств, правильный порядок коих они должны объяснить, они уже для этого не пригодны, потому что в таком случае качества присоединяются к ним каким-то чудом и соответствуют им лишь в силу предустановленной гармонии. Приходится, стало быть, поместить эти движения в эти качества в виде внутренних колебаний, считать эти колебания менее однородными и эти качества менее разнородными, чем они кажутся при поверхностном взгляде, и приписать разницу аспектов двух понятий необходимости для этой, так сказать, неопределенной множественности сокращаться в длении слишком сжатом для скандирования его моментов.

Остановимся на последнем пункте, о котором мы уже упоминали в другом месте, но который мы считаем существеннейшим. Дление, переживаемое нашим сознанием, есть дление определенного ритма, весьма отличное от времени, о котором говорит физик и которое может накоплять в данном промежутке любое число явлений. В течение секунды, красный свет — его волны наиболее длинны и колебания их, следовательно, менее часты — совершает 400 триллионов последовательных колебаний. Хотите составить себе понятие об этом числе? Тогда надобно раздвинуть отдельные колебания настолько, чтоб сознание наше могло их считать или, по крайней мере, отличать их последовательность и тогда высчитать сколько эта последовательность займет дней, месяцев, лет. Самый малый промежуток пустого времени, нами сознаваемый, равняется, по Ехнер'у двум тысячным секунды, да и то еще сомнительно, что мы можем воспринять несколько столь коротких промежутков подряд. Примем все же, что мы можем это делать бесконечно. Словом, вообразим, что какое-нибудь сознание присутствует при проходе 400 триллионов колебаний мгновенных и отделенных только двумя тысячными секунды, необходимыми для их различения. Весьма

простое вычисление покажет, что надобно более 25 000 лет, чтоб окончить эту операцию. Таким образом, ощущение красного света, испытываемое нами в течение секунды, само в себе содержит последовательность явлений, которые, развернутые в нашем длении с величайшей экономией времени, заняли бы 250 веков нашей истории. Можно ли это понять? Здесь надо различать наше собственное дление и время вообще. В нашем длении, в том, которое воспринимает наше сознание, данный промежуток может лишь вмещать ограниченное число сознаваемых явлений. Представляем ли мы себе, что это содержимое увеличивается и, говоря о бесконечно делимом времени, думаем ли мы об этом длении?

Пока дело идет о пространстве, можно продолжать деление сколько угодно; этим ничто не изменяется в природе того, что делят. Это потому, что пространство, по определению, вне нас, и потому, что часть пространства кажется нам все же существующей, даже когда мы перестаем ею заниматься. Пусть мы оставляем его неразделенным, мы знаем, что оно может ждать и что новое усилие воображения разложит его в свою очередь. К тому же, оно никогда не перестанет быть пространством, оно всегда предполагает сопоставление и, следовательно, возможное деление. Пространство в основе есть, к тому же, схема бесконечной делимости. Но совсем не то дление. Части нашего дления совпадают с последовательными моментами акта его разделяющего; сколько мы в нем устанавливаем моментов, столько в нем содержится частей; и если наше сознание может различить в одном промежутке только определенное число элементарных актов, если оно где-либо останавливает деление, там делимость и останавливается. Напрасно воображение наше силится пойти дальше, делить в свою очередь последние части и усиливать, в некотором роде, круговорот наших внутренних явлений:

усилие продолжать дальше подразделение нашего дления настолько же удлинит его. Тем не менее, мы знаем, что миллионы явлений следуют друг за другом, в то время, как мы едва насчитываем несколько. Говорит нам это не одна физика; грубый опыт чувств уже позволяет нам это угадывать; мы предчувствуем в природе последовательности гораздо более быстрые, чем наши внутренние состояния. Как их представить себе, и каково это дление, вместимость которого переходит за пределы всякого воображения?

Это, без сомнения, не наше дление; но это и не то безличное и однородное время, одинаковое для всего и для всех, которое протекало бы, безразличное и пустое, вне того, что длится. Так называемое однородное время, как мы показали в другом месте, есть идол слова, фикция, происхождение которой легко открыть. В действительности нет единого ритма дления; можно вообразить себе много различных ритмов, которые, более медленные или более быстрые, измеряли бы степень напряжения или ослабления сознаний и тем определяли бы их соответственные места в ряду существ. Это представление дления неравной упругости, может быть, тягостно для нашего ума, который приобрел полезную привычку подставлять вместо истинного дления, переживаемого сознанием, однородное и независимое время; но, во первых, легко, как мы уже показали, разоблачить иллюзию, делающую подобное представление тягостным, и, во вторых, эта идея имеет, в сущности, за себя и молчаливое согласие нашего сознания. Не случается ли нам видеть в нас самих, во время сна, двух отдельных людей, живущих одновременно, из которых один спит несколько минут, в то время как сновидение другого занимает дни и недели? И разве вся история целиком не заключалась бы в очень коротком времени для сознания более напряженного, чем наше, которое присутствовало бы при развитии человечества, так

сказать, сжимая его в крупные фазисы его эволюции? В общем воспринимать значит сгущать огромные периоды, бесконечно растянутого существования в несколько дифференцированных моментов более интенсивной жизни, резюмируя, таким образом, очень длинную историю. Воспринимать — значит иммобилизовать.

Это значит, что в акте восприятия мы улавливаем нечто, что переходит за само восприятие, хотя материальная вселенная при этом существенно не отличается от нашего о ней представления. В одном смысле, мое восприятие внутри меня, потому что оно сокращает в единый момент моего дления то, что само в себе распространилось бы на неисчислимое число моментов. Но уничтожьте мое сознание, материальная вселенная останется такой, какой была: только, раз откинут тот особый ритм дления, который был условием моего действия на вещи, эти вещи войдут сами в себя, чтоб скандироваться в стольких моментах, сколько их различает наука, а чувственные качества, не исчезая, распространятся и расплывутся в длении, несравненно более подразделенном. Материя сводится, таким образом, к бесчисленным колебаниям, соединенным в непрерывной слитности, солидарным между собою и разбегающимся дрожью по всем направлениям. Словом, соедините между собою прерывистые предметы вашего повседневного опыта; сведите затем неподвижную непрерывность их качеств к колебаниям на месте; сосредоточьтесь на этих движениях, освободясь от делимого пространства, подведенного под них, и оставив за ними одну подвижность, этот нераздельный акт, который улавливает ваше сознание в движениях, вами самими совершаемых: вы получите видение материи, утомительное, может быть, для вашего воображения, но чистое, освобожденное от того, что потребности жизни заставляют вас прибавлять к внешнему восприятию.

Восстановите теперь мое сознание, а с ним и требования жизни: то здесь, то там, перескакивая всякий раз чрез огромные периоды внутренней истории вещей, будут сняты почти мгновенные виды, — виды на этот раз живописные, более резкие краски которых сгущает бесконечность повторений и элементарных изменений. Так тысячи последовательных положений бегуна сокращаются в одно символическое положение, воспринимаемое нашим глазом, воспроизводимое искусством и которое становится для всех изображением бегущего человека. Когда мы время от времени бросаем взгляд вокруг, он улавливает только следствия множества повторений и внутренних эволюций, следствий поэтому прерывистых; непрерывность их мы восстанавливаем относительными движениями, которые мы приписываем «предметам» в пространстве. Изменение всюду, но оно глубоко; мы же локализуем его там и сям на поверхности; и так мы образуем тела одновременно стойкие по качествам и подвижные по положениям, причем простая перемена места сосредоточивает в себе, в наших глазах, всемирное превращение.

Неоспоримо, что в некотором смысле есть множество предметов, — человек отличается от человека, дерево от дерева, камень от камня, так как каждое из этих существ, каждая из этих вещей имеет характерные особенности и подчиняется определенному закону эволюции. Но разделение между вещью и тем, что ее окружает, не может быть резко проведено; нечувствительными ступенями переходят от одного к другому: тесная солидарность, связующая все предметы материального мира, непрерывность их взаимодействий и реакций, доказывают, что они не имеют тех точных границ, которые мы им приписываем. Наше восприятие рисует, в некотором роде, форму их осадка; оно заканчивает их в той точке, где останавливается наше возможное действие на них и где,

следовательно, они перестают касаться наших потребностей. Такова первая и наиболее очевидная операция воспринимающего ума: он чертит деления в непрерывности протяжения, просто подчиняясь внушениям потребности и necessitiesм практической жизни. Но чтоб таким образом подразделять реальное, мы должны предварительно увериться, что реальное произвольно делимо. Мы должны, следовательно, натянуть под непрерывностью чувственных качеств, что и есть конкретная протяженность, сеть с петлями бесконечно изменчивыми и бесконечно уменьшающимися: этот субстрат просто понимаемый, эта совершенно идейная схема произвольной и бесконечной делимости есть однородное пространство. Теперь, в то время как наше актуальное и, так сказать, мгновенное восприятие производит это деление материи на независимые предметы, память наша уплотняет в чувственные качества непрерывный поток вещей. Она продолжает прошлое в настоящем, потому что наше действие будет располагать будущим в той самой мере, в какой наше восприятие, увеличенное памятью, сожмет прошлое. Отвечать на испытанное действие немедленной реакцией, которая принимает тот же ритм и продолжается в том же длении, быть в настоящем и в настоящем безостановочно возобновляющемся — вот основной закон материи! В этом состоит *необходимость*. Если есть *свободные* действия или, по крайней мере, частью непредопределенные, то они могут принадлежать только существам, способным предвидеть отдельные моменты будущего, с которым встретится их будущее, закреплять его в отдельные моменты, сгущать таким образом материю и, усваивая ее, преобразовывать ее в движения реакции, которые пройдут сквозь петли естественной необходимости. Больше или меньше напряжение их дления, которое, в сущности, выражает большую или меньшую интенсивность

жизни, определяет, таким образом, и силу сосредоточения их восприятий и степень их свободы. Независимость их воздействия на окружающую материю утверждается по мере того, как они освобождаются от ритма, в котором протекает эта материя. Так что чувственные качества, какими они появляются в нашем восприятии, удвоенном памятью, суть именно последовательные моменты, полученные закреплением реального. Но чтоб отличать эти моменты, а также, чтоб связать их нитью, общею и нашему бытию и бытию вещей, нам приходится вообразить абстрактную схему последовательности вообще, среду однородную и безразличную, которая была бы в отношении потока материи, в направлении длины тем, чем есть пространство в направлении ширины: в этом состоит однородное время. Стало быть однородное пространство и однородное время не суть ни свойства вещей, ни существенные условия нашей способности их познавать: они выражают, в абстрактной форме, двойную работу отвердения и деления, которым мы подвергаем подвижную непрерывность реального, чтобы обеспечить себе в ней точки опоры, чтобы наметить центры действия, чтобы ввести в нее настоящие изменения; это схемы нашего *действия* на материю. Первая ошибка, состоящая в том, чтобы сделать из этого однородного времени и пространства свойства вещей, ведет к непреодолимым трудностям метафизического догматизма — механизма или динамизма. Динамизм возводит в абсолюты последовательные сечения, которые мы делаем вдоль текущей вселенной, и потом тщетно старается связать их между собою родом качественной дедукции; механизм берет, в каком-нибудь одном сечении, деления произведенные в ширину, т. е. мгновенные различия величины и положения, столь же тщетно силясь породить при помощи этих различий последовательность чувственных качеств. Желают ли при-

нять иную гипотезу? Признать с Кантом, что пространство и время формы нашей чувственности? Тогда приходится объявить и материю и дух одинаково непознаваемыми. Но если сравнить обе гипотезы, видно, что у них общая основа: делая из однородного времени и однородного пространства созерцаемые реальности или формы созерцания, обе приписывают времени и пространству скорее *спекулятивный*, нежели *жизненный* интерес. А тогда между метафизическим догматизмом с одной стороны и критической философией с другой, есть место для доктрины, которая смотрит на однородное время и пространство как на принципы деления и отвердения, введенные в реальное ввиду действия, а не познания; эта доктрина приписывает вещам реальное дление и реальную протяженность и усматривает, наконец, первоначало всех трудностей уже не в этом длении и не в этом протяжении, действительно принадлежащем вещам и непосредственно обнаруживающемся нашему духу, но в однородном времени и пространстве, которые мы натягиваем под ними, чтоб делить непрерывное, определять осуществления и давать нашей деятельности точки опоры.

Но ошибочные понятия чувственного качества и пространства так глубоко вкоренились в ум, что надо оспаривать их с возможно большего числа точек зрения зараз. Скажем еще, чтоб представить их в новом аспекте, что они предполагают двойной постулат, принимаемый и реализмом, и идеализмом: 1) между различными родами качеств нет ничего общего; 2) нет также ничего общего между протяжением и чистым качеством. Мы же, напротив, полагаем, что есть нечто общее между качествами разных родов, что они все причастны в разной степени протяжению и что эти две истины нельзя упускать из виду, не затрудняя тысячами трудностей метафизику материи, психологию восприятия и, в более общем смысле, вопрос об отно-

шении сознания к материи. Не настаивая на этих последствиях, ограничимся тем, что обнаружим два оспариваемые нами постулата в основе различных теорий материи и проследим иллюзию, от которой они происходят.

Сущность английского идеализма в том, что он считает протяжение свойством осязательных восприятий. Так как чувственные качества он рассматривает только как ощущения, а самые ощущения как состояния души, то в различных качествах он не находит ничего, что обосновало бы параллелизм их явлений: ему по необходимости приходится объяснять этот параллелизм привычкой, вследствие которой актуальные зрительные восприятия, например, внушают нам возможные восприятия осязания. Если впечатления двух различных чувств сходны не более, чем два слова различных языков, тщетно было бы и стараться вывести данные одного из данных другого; у них нет общих элементов. И, следовательно, также нет ничего общего между протяжением, которое всегда осязательно, и данными других чувств, которые никоим образом не протяженны.

Но, в свою очередь, атомистический реализм, который помещает движения в пространство, а ощущения в сознание, не может открыть ничего общего между этими явлениями протяжения и ощущениями им отвечающими. Эти ощущения словно исходят из этих явлений, как род фосфоресценции, или они как бы переводят на язык души проявления материи; но ни в том, ни в другом случае они не отражают образа их причин. Конечно, все они исходят из общего первоначала — из движения в пространстве; но именно потому, что они развиваются вне пространства, они отказываются, поскольку они ощущения, от сродства, соединявшего их причины. Разрывая связь с пространством, они разрывают и связь между собой и не причастны ни друг другу, ни протяжению.

Стало быть, тут идеализм и реализм отличаются только в том, что первый отодвигает протяжение до осязательного восприятия, исключительным свойством которого оно становится, а второй — отталкивает протяжение еще дальше, за пределы всякого восприятия. Но обе доктрины согласны в утверждении прерывности различных родов чувственных качеств, а также и резкого перехода того, что есть чисто протяженное, в то, что ни в каком смысле не протяжено. Главные трудности, которые обе эти доктрины встречают в теории восприятия, выходят из этого общего постулата.

Желают ли, с Берклеем, чтобы всякое восприятие протяжения относилось к осязанию? Можно, пожалуй, отказать в протяжении данным слуха, обоняния и вкуса; но придется, по крайней мере, объяснить генезис зрительного пространства, соответствующего пространству осязательному. Правда, ссылаются на то, что зрение становится символическим осязанию и что в зрительном восприятии отношений пространства нет ничего, кроме внушения осязательных восприятий. Но нам трудно понять, как, например, зрительное восприятие выпуклости, восприятие производящее на нас впечатление *sui generis*, — к тому же неопишное, — совпадает с простым воспоминанием ощущения осязания. Ассоциация воспоминания с наличным восприятием может осложнить это восприятие, обогатив его уже известным элементом, но не может *создать* нового рода впечатления, нового качества восприятия: между тем зрительное восприятие выпуклости представляет совершенно оригинальный характер. Можно ли получить иллюзию выпуклости от плоской поверхности? Отсюда можно бы было заключить, что поверхность, на которой игра света и теней выпуклого предмета хорошо изображены, может *напомнить* нам выпуклость; но чтоб выпуклость можно было вспомнить, надобно еще, что-

бы она прежде того действительно была воспринята. Мы уже говорили (не лишне еще раз повторить это): наши теории восприятия совершенно искажены мыслью, что если некая комбинация производит, в данный момент, иллюзию какого-нибудь восприятия, то она всегда достаточна для произведения того же восприятия; — как будто роль памяти не состоит именно в том, чтоб сохранять сложность следствия, после упрощения причины. Скажут ли нам, что сама сетчатка — плоская поверхность, что если мы зреним воспринимаем нечто протяженное, то это во всяком случае только образ на сетчатке? Но разве не верно, как мы показали в начале этой книги, что в зрительном восприятии предмета мозг, нервы, сетчатка и *сам предмет* составляют одно солидарное целое, непрерывный процесс, где образ сетчатки составляет только эпизод: по какому праву можно отделять этот образ и сосредоточивать в нем все восприятие? Затем, мы также показали это в другом месте\*, может ли поверхность быть воспринята как поверхность, иначе, как в пространстве, при восстановлении его трех измерений? Берклей шел, по крайней мере, до конца своего положения: он отрицал в зрении всякое восприятие протяжения. Но наши возражения тогда приобретают новую силу, так как непонятно, как, простой ассоциацией воспоминаний, может создаваться то, что есть оригинального в наших зрительных восприятиях линии, поверхности и объема, восприятиях столь ясных, что математик ими довольствуется и обыкновенно рассуждает над пространством чисто зрительным. Но не будем настаивать на этих пунктах, точно так же, как на спорных аргументах, почерпнутых из наблюдений над слепыми, подвергнутыми

---

\* *Essai sur les donnés immédiates de la conscience*. Paris, 1889, стр. 77 и 78. А. Бергсон «Время и свобода воли» пер. С. Гессена. Москва, 1910.

операции: классическая, после Берклея, теория приобретенных зрительных восприятий, по-видимому, не может устоять против многочисленных нападков на нее современной психологии\*. Оставляя в стороне трудности психологической стороны вопроса, ограничимся указанием одного пункта, для нас существенного. Представим себе, на одну минуту, что зрение изначально не дает нам сведений ни о каких пространственных отношениях. Зрительная форма, зрительная выпуклость, зрительное расстояние становятся тогда символами осязательных восприятий. Но нам должны объяснить, как этот символизм удалется. Вот предметы, которые изменяются в форме и двигаются. Зрение констатирует определенные изменения, которые затем проверяются осязанием. В этих двух сериях, зрительной и осязательной, или в их причинах, есть, значит, нечто, что заставляет их соответствовать друг другу и что обеспечивает постоянство этого параллелизма. В чем принцип этой связи.

Для английского идеализма это может быть только в какой-то *deus ex machina*, и мы возвращаемся к тайне. Для вульгарного реализма принцип соотношения ощущений между собой находится в пространстве отличном от ощущений; но доктрина эта только отодвигает трудность и даже увеличивает ее, ибо надо, чтобы она сказала нам, как система однородных движений в пространстве вызывает различные ощущения, не имеющие между собою никакого соотношения. Мы только что ви-

---

\* См. по этому вопросу: Paul Janet. *La perception visuelle de la distance*. *Revue philosophique*, 1879, t. VII, стр. 1 и след. — William James. *Principles of Psychology*. t. II, chap. XXII. — См. по вопросу о зрительной перцепции протяжения: Dupan. *L'espace visuelle et l'espace tactile* (*Revue philosophique*, февраль и апрель 1888, январь 1889).

дели, что генезис зрительного восприятия пространства из простой ассоциации образов, как бы предполагал настоящее творение *ex nihilo*; здесь все ощущения рождаются из ничего или, по крайней мере, не имеют никакого отношения к движению их производящему. В сущности, вторая теория гораздо менее отличается от первой, чем это думают. Аморфное пространство, атомы отталкивающиеся и сталкивающиеся не что иное, как объективированные осязательные восприятия, отделенные от других восприятий в силу исключительной важности, им приданной, и возведенные в независимые реальности для отличения их от других ощущений, которые становятся их символами. К тому же, при этом их лишили части их содержимого; сведя все чувства на осязание, от самого осязания сохранили только абстрактную схему осязательного восприятия, чтобы из этой схемы построить внешний мир. Можно ли удивляться, что между этой абстракцией с одной стороны и ощущениями с другой уже не находят более возможного сообщения? Истина в том, что пространство и не в нас, и не вне нас и что оно не принадлежит к привилегированной группе ощущений. Все ощущения причастны протяжению; все пускают в протяжение более или менее глубокие корни, и трудности вульгарного реализма лежат в том, что раз сходство между ощущениями извлечено и отложено в сторону в виде бесконечного и пустого пространства, мы уже не видим ни причастности этих ощущений к протяжению, ни их соответствия между собою.

Мысль, что наши ощущения до некоторой степени экстенсивны; все более и более проникает современную психологию. Утверждают, не без видимого основания\*, что нет ощущения без «экстенсивности»

---

\* Ward. Статья *Psychology*, в *Encyclop. Britannica*.

или без «чувства объема» \*. Английский идеализм хотел оставить за осязательным восприятием монополию протяжения, причем другие ощущения действовали бы в пространстве лишь в той мере, в какой они напоминают данные осязания. Наоборот, более внимательная психология обнаруживает перед нами — и обнаружит еще больше, без сомнения, — необходимость принимать, что все ощущения изначально растяжены, но что протяженность их бледнеет и сглаживается перед интенсивностью и высшей полезностью осязательного протяжения и также, без сомнения, протяженностью зрительной.

Понятое таким образом, пространство есть действительно символ стойкости и делимости до бесконечности. Конкретное протяжение, т. е. разнообразие чувственных качеств, не в пространстве; мы помещаем пространство в конкретное протяжение. Оно не есть опора, на которую накладывается реальное движение; наоборот: реальное движение отлагает его под собою. Но воображение наше, занятое прежде всего удобством выражения и требованиями материальной жизни, предпочитает опрокинуть естественный порядок членов. Привыкшее искать точки опоры в мире образов готовых, неподвижных, кажущаяся стойкость которых отражает в особенности неизменность наших низших потребностей, оно не может не верить, что покой предшествует подвижно-

---

\* W. James. Principles of Psychology. t. II, стр. 134 и след. Заметим мимоходом, что мнение это можно было бы, пожалуй, приписать Канту, потому что в *трансцендентальной эстетике* он не делает различия между данными разных чувств касательно их распространения в пространстве. Но не надо забывать, что точка зрения критики иная, чем точка зрения психологии, и что для ее предмета достаточно, если все наши ощущения заканчиваются локализацией в пространстве, когда восприятие достигло своей окончательной формы.

сти, не может не принимать его за точку отправления; не может не поместиться в нем и не видит, наконец, в движении только изменение расстояния, причем пространство предшествует движению. Тогда, в однородном и бесконечно делимом пространстве, оно начертит траекторию и установит положения; затем, приложив движение к траектории, оно захочет, чтобы движение было так же делимо, как эта линия, и, как она, лишено качеств. Удивительно ли после этого, что наш разум, работая отныне по этой идее обратной действительности, не находит в ней ничего, кроме противоречий? Приурочив движения к пространству, их находят столь же однородными, как пространство; а так как между ними хотят видеть только измеримые различия направления и скорости, то всякое соотношение между движением и качеством уничтожается. Тогда остается только заключить движение в пространство, качества в сознание и установить между этими двумя параллельными сериями, по гипотезе не способными никогда сойтись, таинственное соответствие. Отброшенное в сознание чувственное качество становится бессильным снова овладеть протяжением. Помещенное в пространстве, — в пространстве абстрактном, где всегда есть только одно мгновение и где все всегда вновь начинается, — движение отказывается от солидарности настоящего с прошлым, составляющей самую его сущность. И так как эти два аспекта восприятия, качество и движение, одинаково затемняются, то явление восприятия, где замкнутое в самом себе и чуждое пространству сознание передает, что происходит в пространстве, становится совершенной тайной. Отстраним, напротив, всякую предвзятую идею объяснения или меры, станем лицом к лицу с непосредственной реальностью: мы больше не находим непреодолимого расстояния, не находим существенной разницы, не находим даже настоящего различия

между восприятием и воспринимаемой вещью, между качеством и движением.

Мы возвращаемся, таким образом, длинным обходом к заключениям, к которым пришли в первой главе этой книги. Наше восприятие, говорили мы, находится скорее в вещах, чем в духе, скорее вне нас, чем в нас. Восприятия различного рода намечают различные направления реальности. Но это восприятие, совпадающее со своим объектом, прибавляли мы, существует скорее *de jure*, чем *de facto*: оно происходит во мгновенном. В конкретное восприятие вступает память, и субъективность чувственных качеств зависит от того, что наше сознание, которое в начале только память, продолжает одни в другие множество моментов, чтоб сократить их в единой интуиции.

Сознание и материя, душа и тело, приходят, таким образом, в соприкосновение в восприятии. Но мысль эта оставалась темной некоторыми своими сторонами, потому что, в таком случае, наше восприятие, а следовательно, и сознание наше, должны бы обладать свойством делимости, приписываемым материи. В дуалистической гипотезе для нас естественно неприемлемо частичное совпадение воспринятого объекта и воспринимающего субъекта, потому что мы знаем нераздельное единство нашего восприятия, тогда как объект кажется нам, по своей сущности, бесконечно делимым. Отсюда гипотеза сознания с неэкстенсивными ощущениями, обращенного к протяженной множественности. Но если делимость материи стоит в зависимости только от нашего действия на нее, т. е. от нашей способности изменять ее аспект, если она принадлежит не самой материи, а пространству, которое мы подводим под эту материю, чтоб сделать ее доступной нашему действию, тогда трудность исчезает. Протяженная материя, рассматриваемая в ее целом, подобна сознанию, где все уравновешено, компенсировано и нейтрализовано; она действительно

обнаруживает неделимость нашего восприятия; так что обратно, мы смело можем приписать восприятию нечто от протяженности материи. Эти два выражения, восприятие и материя, идут друг другу навстречу, по мере нашего освобождения от того, что можно назвать предрассудком действия: ощущение приобретает вновь экстенсивность, конкретное протяжение снова овладевает своей естественной непрерывностью и неделимостью. А однородное пространство, высившееся между этими двумя выражениями, как несокрушимая преграда, не имеет иной реальности, кроме реальности схемы или символа. Оно касается поступков существа действующего на материю, но не работы ума, спекулирующего над ее сущностью.

Этим же уясняется, в некоторой мере, вопрос, к которому сводятся все наши исследования, вопрос соединения души и тела. Неясность этой проблемы, в дуалистической гипотезе, исходит из взгляда на материю, как на делимое по существу и на всякое состояние души как на строго неэкстенсивное, так что с самого начала пресекают сообщение между этими двумя выражениями. Углубляя этот двойной постулат, в нем открывают, в отношении материи, смешение конкретной и неделимой протяженности с делимым пространством под ней подведенным, а в отношении духа, ошибочную мысль, что нет степеней, нет возможного перехода от протяженного к непротяженному. Но если эти два постулата заключают в себе общую ошибку; если есть постепенный переход от идеи к образу и от образа к ощущению; если по мере того как душевное состояние двигается таким путем к актуальности, т. е. к действию, оно все более приближается к экстенсивности; если, наконец, эта экстенсивность, раз достигнутая, остается неделимой и тем ничуть не нарушает единства души, то становится понятным, что дух может приложиться к материи в акте чистого восприятия, следовательно-

но, соединяться с нею, и все-таки радикально от нее отличаться. Он отличается от нее тем, что даже тогда он есть *память*, т. е. синтез прошлого и настоящего в виду будущего, тем, что он сдвигает моменты этой материи, чтоб пользоваться ею и проявляться в *действиях*, в чем настоящая цель его соединения с телом. Мы были, стало быть, правы, говоря в начале этой книги, что различие между телом и духом не должно устанавливаться функцией пространства, но функцией времени.

Ошибка вульгарного дуализма в том, что он становится на точку зрения пространства, помещает с одной стороны материю с ее изменениями в пространство, с другой неэкстенсивные ощущения в сознание. Отсюда невозможность понять, как дух действует на тело или как тело действует на дух. Отсюда гипотезы, которые суть ничто иное, и не могут быть ничем иным, как только замаскированным констатированием факта, — идея параллелизма или предустановленной гармонии. Но отсюда также проистекает невозможность установить психологию памяти и метафизику материи. Мы пытались доказать, что эта психология и эта метафизика солидарны и что трудности сглаживаются в дуализме, который, исходя из чистого восприятия, где субъект и объект совпадают, помещает развитие этих двух выражений в соответствующие им дления, — материя, по мере углубления ее анализа, приближается к тому, чтоб обратиться в последовательность бесконечно быстрых моментов, которые выводятся один из другого и тем становятся *равнозначными*; — дух, будучи памятью уже в восприятии, все более утверждается, как продолжение прошлого в настоящем, как *прогрессирование*, как настоящая эволюция.

Но становится ли яснее соотношение тела с духом? Пространственное различие мы заменяем различием временным: но могут ли оттого легче соеди-

нить эти два выражения? Надобно заметить, что первое различие не допускает степеней: материя в пространстве, дух вне пространства — между ними нет возможного перехода. Наоборот, если самая низменная роль духа в том, чтобы связывать последовательные моменты длительности вещей, если в этом он приходит в соприкосновение с материей и этим же, сначала, от материи отличается, тогда мыслима бесконечность ступеней между материей и духом в полном своем развитии, духом, способным не только на непредопределенные действия, но и на действия разумные и обдуманые. Каждая из этих последовательных ступеней, измеряющих растущую интенсивность жизни, отвечает более высокому напряжению дления, выражается наружу большим различием чувственно-двигательной системы. Увеличивающаяся сложность нервной системы укажет, по-видимому, на возможность все большего простора для деятельности живого существа, способность ждать, прежде чем реагировать, ставить полученное раздражение в соответствие с растущим богатством двигательных механизмов. Но это только внешность; более сложная организация нервной системы, которая, по-видимому, обеспечивает живому существу большую независимость от материи, только материально символизирует самую эту независимость, т. е. внутреннюю силу, позволяющую существу освобождаться от ритма потока вещей, все лучше и лучше удерживать прошедшее, чтобы все глубже влиять на будущее, — то есть, его память, в том особом смысле, который мы придаем этому слову. Таким образом, между материей и духом, наиболее способным к размышлению, существуют все возможные интенсивности памяти или, что то же самое, все степени свободы. В первой гипотезе, той, которая выражает различие между духом и телом в понятиях пространства, тело и дух уподобляются

двум рельсовым путям, пересекающимся под прямым углом; согласно второй — рельсы проложены по кривой, так что можно незаметно перейти с одного пути на другой.

Но не есть ли это только образ? Не останется ли, все же, резкой разницы несовместимого противоположения между материей в собственном смысле слова и самой низкой степенью свободы или памяти? Да, конечно, различие остается, но соединение становится возможным, ибо оно дается, в радикальной форме частичного совпадения в чистом восприятии. Трудности вульгарного дуализма происходят не от того, что эти два члена различаются, а от того, что не видно, как одно из них прививается к другому. Мы показали, что чистое восприятие, которое есть низшая степень духа, — дух без памяти — действительно составляет часть материи, как мы ее понимаем. Пойдем дальше: память вступает не как функция, для материи совершенно чуждая и которой она не подражала бы на свой лад. Если материя не помнит прошлого, то только потому, что она непрерывно повторяет прошлое, потому, что, подчиненная необходимости, она развертывает ряд моментов, из которых каждый равнозначен предыдущему и может из него выводиться: так ее прошедшее действительно дано в ее настоящем. Но существо, которое более или менее свободно эволюирует, создает в каждый момент нечто новое, поэтому бесполезно было бы искать его прошлое в его настоящем, если бы прошлое не откладывалось в нем в состоянии воспоминания. Итак, — метафора много раз повторявшаяся в этой книге — необходимо, по одинаковым причинам, чтобы прошлое *разыгрывалось* материей и *воображалось* духом.

## ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

I. Мы видели из фактов и подтвердили рассуждением ту идею, что тело есть инструмент действия и только действия. Ни в какой мере, ни в каком смысле, ни в каком виде оно не служит для приготовления и, еще менее, для объяснения представления. Между так называемыми перцептивными способностями головного мозга и рефлекторными функциями спинного мозга разница только в степени, а не по существу. Тогда как спинной мозг превращает полученные импульсы в движения, которые более или менее неизбежно совершаются, головной мозг приводит эти импульсы в сообщение с двигательными механизмами, более или менее свободно выбираемыми; но то, что в наших восприятиях объясняется головным мозгом, это — наши действия начатые, или подготовленные, или внушенные, а не сами наши восприятия. Тело сохраняет двигательные привычки, способные снова разыграть прошедшее; оно может вновь принимать положения, в которые вложится прошедшее; или повторением известных мозговых явлений, которые продолжили старые восприятия, оно предоставит воспоминанию точку соприкосновения с актуальным, способ обрести утерянное влияние над наличной реальностью; но мозг ни в каком случае не будет накапливать воспоминания или образы. Так ни в восприятии, ни в памяти, ни тем более в высших операциях духа тело не участвует непосредственно в представлении. Развивая эту гипотезу в ее множественных аспектах и доводя таким образом дуализм до последней крайности, мы, казалось, рыли бездонную пропасть между телом и духом. На самом же деле, мы ука-

зывали единственное возможное средство сблизить и соединить их.

II. В самом деле, все трудности, поднимаемые этой проблемой, — в вульгарном дуализме, в материализме или идеализме — происходят из того, что в явлениях восприятия и памяти телесное и духовное рассматриваются как *duplicata* одно другого. Если я стану на материалистическую точку зрения сознания эпифеномена, то непонятно, почему некоторые мозговые явления сопровождаются сознанием, т. е. для чего служит или как происходит сознательное повторение материальной вселенной, заранее данной. Если я встану на точку зрения идеализма, то мне даны только восприятия и тело мое будет одним из них. Но в то время как наблюдение показывает мне, что воспринятые образы вверх дном перевертываются от очень малых изменений образа, который я называю своим телом (мне стоит закрыть глаза, чтоб исчезла моя зрительная вселенная), наука уверяет меня, что все явления должны следовать и обуславливать друг друга в определенном порядке, в коем все следствия в строгом соответствии с причинами. Я должен, стало быть, искать в том образе, который называю своим телом и который всюду за мною следует, изменений эквивалентных, на этот раз хорошо установленных и точно соразмерных друг другу, образам вокруг моего тела: мозговые движения, к которым я вновь приду таким путем, сделаются дубликатом моих восприятий. Правда, эти движения все еще будут восприятиями, восприятиями «возможными», так что вторая гипотеза понятнее первой; но зато ей придется, в свою очередь, предположить необъяснимое соответствие между моим реальным восприятием вещей и моим возможным восприятием некоторых мозговых движений, которые ни в чем не похожи на эти вещи. Ближе всматриваясь, увидят, что в этом камень преткновения всякого идеализма; он в этом переходе от по-

рядка, который *является* нам в восприятии, к порядку, который *удаётся* нам в науке, — или, если дело идет в частности о кантовском идеализме, в переходе от чувственности к рассудку. Остается тогда вульгарный дуализм. Я поставлю с одной стороны материю, с другой стороны дух и предположу, что мозговые движения — причина или повод моего представления о предметах. Но, если они причина, если их достаточно для произведения представления, я постепенно впадаю в материалистическую гипотезу сознания эпифеномена. Если они только повод, они ни в чем на них не похожи; тогда, отняв у материи все качества, которыми я одарил ее в своем представлении, я возвращусь к идеализму. Идеализм и материализм — это два полюса, между которыми всегда будет колебаться такого рода дуализм; а когда, для удержания двойственности субстанций, он решится поставить их обеих на одну доску, он вынужден будет видеть в них два перевода одного и того же оригинала, два параллельных развития, заранее установленных, одного и того же принципа, вынужден будет, таким образом, отрицать их взаимное влияние и, как неизбежное следствие, пожертвовать свободой.

Теперь, углубляя эти три гипотезы, я нахожу в них общее основание: они принимают элементарные действия духа, восприятие и память, за акты чистого познания. В основу сознания они ставят то бесполезный дубликат внешней реальности, то инертную материю совершенно незаинтересованного умственного построения; но они всегда пренебрегают отношением восприятия к действию и воспоминания к поведению. Конечно, можно представить себе как идеальную границу и бескорыстную память, и бескорыстное восприятие; но, фактически, восприятие и память направлены к действию, и тело подготавливает это действие. Растущая сложность нервной системы приводит полученный импульс

в связь с увеличивающимся разнообразием двигательных аппаратов и тем одновременно намечает все более значительное число возможных действий. Первая функция памяти — вызывать все прошлые восприятия, аналогичные наличному восприятию, напоминать нам то, что предшествовало, и то, что следовало; внушать нам таким путем самое полезное решение. Но это не все. Заставляя нас охватить в единой интуиции множественность моментов времени, она освобождает нас от движения потока вещей, т. е. от ритма необходимости. Чем больше этих моментов она сможет сократить в один момент, тем прочнее власть, которую она дает нам над материей; так что память живого существа, по-видимому, прежде всего указывает на мощь его действия на вещи и является ее умственным отголоском. Будем же исходить из этой действенной силы, как из истинного принципа; предположим, что тело есть центр действия, только центр действия, и посмотрим, какие последствия вытекают из этого для восприятия, для памяти и для соотношения тела и духа.

III. Прежде всего для восприятия. Вот мое тело с его «воспринимающими центрами». Эти центры приходят в колебание, и я получаю представление о вещах. С другой стороны, я предположил, что эти колебания не могут ни произвести, ни выразить моего восприятия. Стало быть, оно вне их. Где оно? Для меня нет вопроса: приняв мое тело, я принял некий образ, но, тем самым, принял совокупность других образов, ибо нет материального предмета, которого качества, определение — словом, существование не зависели бы от места, им занимаемого в целом вселенной. Мое восприятие, стало быть, есть непременно нечто от этих самых предметов; оно скорее в них, а не они в ней. Но, в точности, какое нечто этих предметов есть восприятие? Я вижу, что мое восприятие, по-видимому, следует за всеми подробностями нерв-

ных колебаний, называемых чувствительными, с другой стороны, я знаю, что роль этих колебаний единственно в том, чтобы подготовить реакции моего тела на окружающие тела, наметить мои виртуальные действия. Стало быть, воспринимать значит выделять из совокупности предметов возможное действие моего тела на них. Тогда восприятие только выбор. Оно ничего не создает; его роль, напротив, в том, чтоб устранять из совокупности образов все образы, на которые я не могу воздействовать, затем выделить из всякого удержанного образа все то, что не касается потребностей образа, который я называю своим телом. Таково, по крайней мере, весьма упрощенное объяснение, схематическое описание того, что мы назвали чистым восприятием. Отметим теперь же, какое положение мы заняли между реализмом и идеализмом.

Что всякая реальность имеет сродство, аналогию, отношение с сознанием, это мы уступили идеализму, назвав вещи «образами». Никакая философская доктрина, если она не противоречит сама себе, не может к тому же избежать этого заключения. Но если бы соединили все состояния сознания, прошлые, настоящие и возможные, всех сознательных существ, то этим, по нашему мнению, исчерпали бы только очень малую долю материальной реальности, потому что образы переходят за восприятие со всех сторон. Именно эти образы наука и метафизика желали бы восстановить, воссоздавая в ее целости цепь, из которой наше восприятие держит только несколько звеньев. Но для того, чтобы установить между восприятием и реальностью отношения части к целому, надобно было оставить за восприятием его истинную роль, которая состоит в подготовке действий. Этого идеализм не делает. Почему он и не может, как мы только что сказали, перейти от порядка, который обнаруживается в восприятии, к поряд-

ку, который удается в науке, т. е. от простой смежности (contingence), с которой наши ощущения, по-видимому, следуют друг за другом, к детерминизму, соединяющему явления природы. Именно потому, что он приписывает сознанию в восприятии спекулятивную роль, так что не видно, какой интерес имело бы сознание упускать между двумя ощущениями, например, посредствующие, с помощью которых второе выводится из первого. Эти посредствующие и их строгий порядок остаются тогда темными, возводят ли их в «возможные ощущения», по выражению Милля, приписывают ли этот порядок, как делает Кант, надстройкам, установленным безличным разумом. Но предположим, что мое сознательное восприятие имеет чисто практическое назначение, что оно просто намечает в целом вещей то, что интересует мое возможное действие на них: я понимаю, что все остальное ускользает от меня и что, тем не менее, все остальное той же природы, как и то, что я воспринимаю. Мое познание материи тогда и не субъективно, как в английском идеализме, и не относительно, как в кантовском идеализме. Оно не субъективно, потому что оно скорее в вещах, чем во мне. Оно не относительно, потому что между «явлением» и «вещью» отношение не видимости к реальности, а просто части к целому.

Этим мы, по-видимому, возвращаемся к реализму. Но реализм, если в него не внести поправки в существенном пункте, так же неприемлем, как идеализм, и по той же причине, идеализм, сказали мы, не может перейти от порядка, который обнаруживается в восприятии, к порядку, который удается в науке, т. е. к реальности. Наоборот, реализму не удастся извлечь из реальности то непосредственное познание, которое мы в ней имеем. Можно ли стать на точку зрения обыденного реализма? С одной стороны, имеется многообразная материя, составленная из более или

менее независимых частей, разлитая в пространстве, с другой — дух, который не может иметь с ней никакой точки соприкосновения, если не признать в нем, вместе с материалистами, непонятный эпифеномен. Отдать ли предпочтение кантовскому реализму? Между вещью самой в себе, т. е. реальностью, и чувственным разнообразием, из которого мы строим наше познание, нет никакого мыслимого отношения, никакой общей меры. Теперь, при углублении этих двух крайних форм реализма, видно, что они направляются к одной и той же точке; и та, и другая возводят однородное пространство как непреодолимую преграду между умом и вещами. Наивный реализм делает из этого пространства реальную среду, где вещи подвешены; кантовский реализм видит в нем идеальную среду, где множественность ощущений координируется; но как для одного, так и для другого эта среда дана *изначала*, как необходимое условие того, что в нее помещается. И углубляя эту общую гипотезу, в свою очередь, найдем, что она состоит в том, что приписывает однородному пространству бескорыстную роль — служить поддержкой материальной реальности или иметь функцию, также всецело спекулятивную, — доставлять ощущениям средство координироваться между собою. Так что реализм темен, как и идеализм, потому что он направляет наше сознательное восприятие и условия нашего сознательного восприятия к чистому познанию, а не к действию. Но предположим теперь, что это однородное пространство логически не предшествует, а следует за материальными вещами и за чистым познанием, которое мы можем о них иметь; предположим, что протяжение предшествует пространству; предположим, что однородное пространство есть условие нашего действия, — только нашего действия, — будучи как бесконечно разделенная сеть, которую мы натягиваем под материальной непрерывностью, чтоб ов-

ладеть ею, чтоб разложить ее в направлении нашей деятельности и наших потребностей. Тогда мы выигрываем не только в том, что сходимся с наукой, которая показывает, что всякая вещь влияет на остальные и, следовательно, занимает, в некотором смысле, совокупность протяжения (хотя мы воспринимаем только *центр* этой вещи и устанавливаем ее границы в точке, где останавливается власть нашего тела над ней). Мы выигрываем этим в метафизике не только то, что устраняем или смягчаем противоречия, связанные с делимостью в пространстве, противоречия, которые всегда возникают, как мы показали, от смещения двух точек зрения — действия и познания. Мы этим выигрываем особенно в том, что разрушаем непреодолимую преграду, возведенную реализмом между вещами протяженными и нашим восприятием их. В самом деле, нам ставили с одной стороны множественную и разделенную внешнюю реальность, а с другой — ощущения, чуждые протяженности и без возможного соприкосновения с нею, мы же видим, что конкретное протяжение в действительности не разделено, точно так же, как непосредственное восприятие на самом деле не лишено экстенсивности. Исходя из реализма, мы возвращаемся к той же точке, куда привел нас идеализм: мы вновь помещаем восприятие в вещи. И мы видим, что реализм и идеализм сближаются по мере устранения постулата, принятого обоими без обсуждения и служащего им общим пределом.

Резюмируя, скажем, что если предположить протяженную непрерывность и, в самой этой непрерывности, центр реального действия, представляемый нашим телом, эта деятельность будет как бы освещать все части материи, ей доступные в каждое мгновение. Те же потребности, та же способность действовать, которые выделили наше тело из материи, отграничат отдельные тела в среде, нас окружающей.

Все будет происходить так, как если бы мы пропускали реальное действие вещей через фильтр, останавливая и задерживая только виртуальное действие внешних вещей: это виртуальное действие вещей на наше тело и нашего тела на вещи и есть именно наше восприятие. Но так как сотрясения, получаемые нашим телом от окружающих тел, непрерывно вызывают в его веществе зарождающиеся реакции, и так как эти внутренние движения мозгового вещества в каждый момент намечают наше возможное действие на вещи, то мозговое состояние в точности соответствует восприятию. Оно не есть ни его причина, ни его следствие, и ни в каком смысле, не дублирует: оно просто продолжает его, так как восприятие есть наше виртуальное действие, а мозговое состояние наше начатое действие.

IV. Но эту теорию «чистого восприятия» нужно в двух пунктах смягчить и дополнить. Это чистое восприятие, которое было бы простым осколком реальности, принадлежало бы существу, которое не примешивало бы к восприятию других тел восприятия своего тела, т. е. аффектов, ни к своей интуиции актуального момента интуиции других моментов, т. е. своих воспоминаний. Другими словами, сперва, для удобства изучения, мы рассматривали живое тело, как математическую точку в пространстве и сознательное восприятие, как математическое мгновение во времени. Надобно было придать телу его протяжение, а восприятию его дление. Таким образом, мы вновь возвращаем сознанию его два субъективные элемента: чувствительность и память.

Что такое чувство? Наше восприятие, сказали мы, намечает возможное действие нашего тела. Но тело наше, будучи протяженным, способно действовать на само себя, точно так же, как и на другие тела. В наше восприятие войдет, стало быть, нечто и от нашего тела. Тем не менее, когда дело идет об окружающих

телах, они, по гипотезе, отделены от нашего тела более или менее значительным пространством, измеряющим отдаленности их обещаний или угроз во времени: вот почему наше восприятие этих тел рисует только возможные действия. Наоборот, чем более уменьшается расстояние между этими телами и нашим телом, тем более возможное действие стремится превратиться в действие реальное, и действие становится тем безотлагательнее, чем расстояние становится короче. Когда же расстояния этого нет, т. е. когда воспринимаемое тело — наше собственное тело, то восприятие рисует уже не виртуальное действие, а действие реальное. Такова именно природа боли, актуальное усилие пораженной части привести ткани в порядок, усилие местное, отдельное и тем самым осужденное на неуспех в организме, способном лишь на действия сообща. Боль, стало быть, находится в том месте, где она появляется, как предмет находится в том месте, где он воспринимается. Между воспринятым чувством и воспринятым образом различие в том, что чувство в нашем теле, а образ вне нашего тела. Вот почему поверхность нашего тела, общая граница этого тела и других тел, дана нам зараз в форме ощущения и в форме образа.

В том, что чувство внутренне, состоит его субъективность, а во внешности образов вообще заключается их объективность. Но здесь мы снова находим всегда повторяющуюся ошибку, которую мы преследовали в течение всей нашей работы. Хотят, чтоб ощущение и восприятие существовали сами для себя; им приписывают чисто спекулятивную роль; и так как пренебрегают реальными и виртуальными действиями, с которыми они интимно связаны и которые позволили бы различать их, между ними находят только различие в степени. Тогда, пользуясь тем, что чувство лишь смутно локализовано (по причине неясности его усилия), его объявляют неэкстенсивным; из этих

уменьшенных чувств или неэкстенсивных ощущений, делают материалы, с помощью которых мы строим образы в пространстве. Этим обрекают себя на невозможность объяснить ни откуда являются элементы сознания или ощущения, которые ставят как абсолюты, ни как эти неэкстенсивные ощущения достигают пространства, координируясь в нем потом, ни зачем они принимают скорее один порядок, чем другой, ни каким путем, наконец, им удастся создать прочный опыт, общий всем людям. Напротив, именно из этого опыта, необходимой арены нашей деятельности, надобно исходить. Сначала надо принять чистое восприятие, т. е. образ. А ощущения — не материал, из которого образ строится, — обнаружатся как примесь к образу, будучи тем, что мы проецируем из нашего тела во все другие тела.

V. Но пока мы придерживаемся ощущения и чистого восприятия, почти нельзя сказать, что мы имеем дело с духом. Конечно, мы устанавливаем против теории сознания эпифеномена, что никакое мозговое состояние не однозначно восприятию. Конечно, выбор восприятия между образами вообще есть следствие различения, уже предвещающего дух. Наконец, сама материальная вселенная, определяемая как совокупность образов, есть уже своего рода сознание, сознание, где все компенсируется и нейтрализуется, сознание, где все случайные части уравновешивают друг друга реакциями, всегда равными действиям, и тем взаимно препятствуют друг другу выступать. Но чтоб достигнуть реальности духа, надо стать на ту точку, где индивидуальное сознание, продолжая и сохраняя прошлое в настоящем, причем настоящее обогащается прошлым, ускользает от закона необходимости, по которому прошлое непрерывно следует само за собою в настоящем, просто его повторяющим в другой форме, и по которому все всегда протекает. Переходя от чистого вос-

приятия к памяти, мы окончательно покидаем материю для духа.

VI. Теория памяти, составляющая центр нашей работы, должна была быть и теоретическим следствием, и экспериментальной проверкой нашей теории чистого восприятия. Что мозговые состояния, сопровождающие восприятие, не суть ни ее причина, ни ее дубликат, что отношение восприятия к его физиологическому корреляту есть отношение виртуального действия к действию начатому, этого мы не могли установить фактами, потому что при нашей гипотезе все произойдет так, как будто восприятие есть результат мозгового состояния. В чистом восприятии воспринятый предмет есть предмет наличный, есть тело, которое изменяет наше тело. Стало быть образ его актуально дан, и поэтому факты позволяют нам по произволу сказать, что мозговые изменения намечают рождающиеся реакции нашего тела или что они создают сознательный дубликат наличного образа. Но совсем не то с памятью, ибо воспоминание есть представление отсутствующего предмета. Здесь обе гипотезы дадут противоположные следствия. Если, в случае наличного предмета, состояния нашего тела было уже достаточно, чтоб создать представление предмета, тем более этого состояния будет достаточно при отсутствии этого предмета. Стало быть, по этой теории, надобно, чтобы воспоминание зарождалось от ослабленного повторения мозгового явления, вызвавшего первое восприятие и состояло просто в ослабленном восприятии; отсюда двойное положение: *память есть лишь функция мозга, и между восприятием и воспоминанием разница только в интенсивности*. Наоборот, если мозговое состояние ни в коем случае не создает нашего восприятия наличного предмета, но просто продолжает его, то оно сможет продолжить и воспоминание, нами вызванное, но не сможет его поро-

дить. А так как, с другой стороны, наше восприятие наличного предмета было частью самого этого предмета, то наше представление отсутствующего предмета будет явлением совершенно другого разряда, чем восприятие, потому что между присутствием и отсутствием нет степени, нет середины. Отсюда двойное положение, обратное предыдущему: *память есть нечто иное, чем функция мозга, и между восприятием и воспоминанием различие не в степени, а по существу*. Противоположность двух теорий принимает, таким образом, острую форму, и на этот раз опыт может их рассудить.

Мы не вернемся здесь к подробностям проверки, которую мы пытались сделать. Напомним просто главные пункты. Все фактические доводы, на которые можно ссылаться в пользу вероятности накопления воспоминаний в корковом веществе, черпаются из локализованных болезней памяти. Но если бы воспоминания действительно отлагались в мозгу, то резко выраженным амнезиям соответствовали бы характерные поражения мозга. Но ведь при амнезиях, где внезапно и радикально исчезают целые периоды нашей прошлой жизни, не наблюдается точно определенных мозговых поражений; и наоборот, в расстройствах памяти, где мозговая локализация ясна и несомненна, т. е. в разных афазиях и в болезнях зрительного и слухового узнавания, не то или иное определенное воспоминание, так сказать, вырвано из места своего нахождения, но более или менее уменьшена в *своей жизненности* способность призыва, как будто субъекту более или менее трудно привести воспоминание в соприкосновение с наличным положением. Стало быть, надо изучить механизм этого соприкосновения и посмотреть, не заключается ли роль мозга скорее в том, чтоб обеспечить отправление этого механизма, чем в том, чтоб заключать самые воспоминания в свои клетки. Это

заставило нас проследить во всех его эволюциях прогрессивное движение, которым прошлое и настоящее приходят в соприкосновение друг с другом, т. е. проследить узнавание. И мы нашли, что узнавание наличного предмета может совершаться двумя совершенно различными способами, но что ни в одном из этих двух случаев мозг не является резервуаром образов. В самом деле, иногда, совершенно пассивным узнаванием — скорее разыгранным, чем мысленным, — тело отвечает на возобновленное восприятие действием, ставшим автоматическим: тогда все объясняется двигательными аппаратами, созданными в теле привычкой, и тогда поражения памяти могут зависеть от разрушения этих механизмов. Иногда, наоборот, узнавание совершается активно, при помощи образов-воспоминаний, идущих навстречу наличному восприятию, но тогда надо, чтоб эти воспоминания, в момент, когда они налагаются на восприятие, могли бы пустить в ход те же мозговые аппараты, которые восприятие обыкновенно приводит в движение для действия: иначе, заранее осужденные на бессилие, они не обнаружат никакого стремления актуализироваться. Вот почему, во всех случаях, где мозговое поражение затрагивает известную категорию воспоминаний, эти воспоминания не схожи между собою, ни в том, что они относятся к той же эпохе, ни по логическому средству между собою, но сходны только в том, что все они или слуховые, или зрительные, или двигательные. То, что, по-видимому, повреждено, это различные чувственные или двигательные области, или, еще чаще, придатки, позволяющие пускать их в ход изнутри самого коркового слоя, а не сами воспоминания. Мы пошли дальше, и внимательным исследованием узнавания слов, а также явлений сенсоральной афазии, мы пытались установить, что узнавание совершается совсем не механическим пробуждением воспомина-

ний, дремлющих в мозгу. Оно предполагает, наоборот, более или менее высокое напряжение сознания, которое идет на поиски в область чистой памяти за чистыми воспоминаниями, чтобы постепенно материализовать их при соприкосновении с наличным восприятием.

Но что такое эта чистая память и эти чистые воспоминания? Отвечая на этот вопрос, мы дополнили доказательство нашего положения. Мы установили его первый пункт, а именно, что память есть нечто иное, чем функция мозга. Нам оставалось доказать, анализом «чистого воспоминания», что между воспоминанием и восприятием не простое различие в степени, но коренная разница по существу.

VII. Укажем теперь же на метафизическое, а не только психологическое значение этой последней проблемы. Следующий тезис, конечно, чисто психологический: воспоминание есть ослабленное восприятие. Но пусть не обманываются: если воспоминание только более слабое восприятие, то обратно — восприятие будет нечто вроде более сильного воспоминания. Тут зародыш английского идеализма. Между реальностью воспринятого предмета и идеальностью представляемого предмета этот идеализм принимает только различие в степени, а не по существу. Мысль, что мы строим материю из наших внутренних состояний, что восприятие есть только правдивая галлюцинация, идет также отсюда. Эту мысль мы не переставая оспаривали, когда говорили о материи. Или наша концепция материи ошибочна, или воспоминание радикально отличается от восприятия.

Так мы переставили метафизическую проблему до совпадения ее с проблемой психологии, которую может решить простое наблюдение. Как оно ее решает? Если воспоминание восприятия было бы самим восприятием, но ослабленным, то нам случилось бы, на-

пример, принимать восприятие слабого звука за воспоминание сильного шума. Такого смешения не происходит никогда. Но можно идти дальше и доказать, опять-таки наблюдением, что сознание воспоминания никогда не начинается более слабым актуальным состоянием, которое мы старались бы откинуть в прошлое, сознав его слабость; к тому же, если бы мы не имели уже представления о прошлом, ранее пережитом, то как могли бы мы удалять в него наименее интенсивные психологические состояния, тогда как было бы так просто их поставить рядом с состояниями сильными, как более смутный наличный опыт с наличным опытом более ясным? Дело в том, что память состоит совсем не в возвращении настоящего к прошлому, но наоборот, в передвижении прошлого в настоящее. Мы сразу становимся в прошлое. Мы исходим из виртуального состояния, которое мы мало-помалу проводим чрез серию различных плоскостей сознания до конца, где оно материализуется в актуальном восприятии, т. е. до точки, где оно становится состоянием наличным и действующим, т. е. до крайней плоскости нашего сознания, где рисуется наше тело. Чистое воспоминание заключается в этом виртуальном состоянии.

Почему здесь не принимают во внимание свидетельства нашего сознания? Почему из воспоминания делают более слабое восприятие, о котором нельзя сказать, ни зачем мы отбрасываем его в прошлое, ни как мы находим его дату, ни по какому праву оно вновь появляется скорее в данный момент, чем в какой-либо иной? Все потому же, что забывают практическое назначение наших актуальных психологических состояний. Из восприятия делают бескорыстное действие духа, только созерцание. Но так как чистое воспоминание может быть лишь чем-нибудь в этом роде (потому что оно не соответствует наличной и безотлагательной реальности), то воспомина-

ние и восприятие делаются состояниями одинаковой природы, между которыми уже нельзя найти иного различия, кроме различия в интенсивности. Но дело в том, что наше настоящее не должно определяться как то, что интенсивнее: оно есть то, что действует на нас и что нас заставляет действовать, оно чувственно и оно двигательно; — наше настоящее есть прежде всего состояние нашего тела. Наше прошедшее, наоборот, есть то, что уже не действует, но могло бы действовать, что будет действовать, вложившись в наличное ощущение, у которого оно заимствует жизненность. Но, правда, в момент, когда воспоминание актуализируется, вступая в действие, оно перестает быть воспоминанием и вновь становится восприятием.

Тогда понятно, почему воспоминание не могло происходить из мозгового состояния. Мозговое состояние продолжает воспоминание, оно дает ему власть над настоящим, придавая ему материальность; но чистое воспоминание есть духовное проявление. С памятью мы, действительно, вступаем в область духа.

VIII. Эту область нам исследовать не надлежало. Находясь в точке слияния духа и материи, желая видеть их взаимное слияние, нам важно было выделить из самопроизвольности ума только точку его соединения с телесным механизмом. Таким образом мы могли видеть ассоциацию идей и рождение простейших общих идей.

В чем главная ошибка ассоциационизма? В том, что он поместил все воспоминания в одной и той же плоскости, что он упустил из виду более или менее значительное расстояние, которое отделяет их от наличного телесного состояния, т. е. от действия. Поэтому он не мог объяснить, ни как воспоминание присоединяется к восприятию его вызывающему, ни почему ассоциация совершается скорее по сход-

ству или смежности, чем каким-либо иным путем, ни также, какой прихотью это определенное воспоминание выбирается среди тысячи воспоминаний, которые по сходству или смежности тоже связаны с актуальным восприятием. Это значит, что ассоциационизм перепутал и смешал все различные *плоскости сознания*, упорно принимая менее полное воспоминание за воспоминание менее сложное, тогда как в действительности в этом воспоминании меньше *мечты*, т. е. оно ближе к действию и поэтому более банально, более способно приспособляться, как готовое платье, к новизне наличного положения. Противники ассоциационизма, впрочем, следовали за ним на этой почве. Они упрекали его за то, что он объясняет высшие операции ума ассоциациями, но не за то, что он упустил из виду истинную природу самой ассоциации. Между тем в этом и есть первоначальный порок ассоциационизма.

Напротив, между плоскостью действия — плоскостью, где тело наше сжало свое прошлое в двигательных привычках, — и плоскостью чистой памяти, где наш дух сохраняет во всех подробностях картину нашей протекшей жизни, мы различили, казалось нам, тысячи и тысячи различных плоскостей сознания, тысячи полных и все же различных повторений всего нами пережитого опыта. Пополнить воспоминание более личными подробностями совсем не значит механически сопоставить другие воспоминания к этому воспоминанию, но перенестись на более обширную плоскость сознания, удалиться от действия в направлении мечты. Точно так же, локализовать воспоминание не значит втискивать его механически между другими воспоминаниями, но расширением памяти в ее целом очертить круг достаточно обширный, чтобы эта подробность прошлого в нем заключалась. Эти плоскости, к тому же, не даны как вещи готовые, наложенные одна на другую. Они су-

ществуют скорее виртуально, тем существованием, которое присуще вещам духа. Ум, в каждый момент, двигаясь вдоль промежутка их разделяющего, безостановочно снова находит их, или, скорее, творит их наново: его жизнь состоит именно в этом движении. Тогда мы понимаем, почему законы ассоциации суть сходство и смежность, а не иные законы, и почему память выбирает между воспоминаниями схожими или смежными скорее одни образы, чем другие, и наконец, как образуются, общей работой тела и духа, первые общие понятия. Для живого существа выгодно схватит в наличном положении то, что походит на одно из прежних положений, затем сблизить с ним то, что предшествовало и особенно то, что следовало, чтобы воспользоваться своим прошлым опытом. Из всех ассоциаций, которые можно вообразить, одни только ассоциации по сходству и по смежности прежде всего имеют жизненную полезность. Но чтоб понять механизм этих ассоциаций и, в особенности, с виду прихотливый выбор, который они делают в воспоминаниях, надобно поочередно становиться в две крайние плоскости, названные нами плоскостью действия и плоскостью грезы.

В первой помещаются только двигательные привычки, о которых можно сказать, что это скорее ассоциации, разыгранные или пережитые, чем представленные: здесь сходство и смежность слиты, ибо аналогичные внешние положения, повторяясь, связали некоторые движения нашего тела между собою, а тогда та же автоматическая реакция, в которой мы разовьем эти смежные движения, извлечет из положения, их вызывающего, сходство его с раньше бывшими положениями. Но по мере перехода от движений к образам и от образов бедных к образам более роскошным сходство и смежность отделяются друг от друга: в конце концов они противопоставляются в другой крайней плоскости, где ни одно действие не

связано с образами. Выбор одного сходства среди многих сходств, одной смежности среди многих смежностей происходит не случайно: он зависит от беспрестанно изменяющегося *напряжения* памяти, которая, в разных случаях, склоняется ли она скорее к тому, чтоб вложиться в наличное действие или чтоб отделиться от него, целиком транспонируется в тот или иной тон. Это же двойное движение памяти между двумя крайними границами намечает, как мы показали, первые общие понятия, — двигательная привычка поднимается к подобным образам, чтоб извлечь из них сходство; подобные образы спускаются к двигательной привычке, чтобы смешаться, например, в автоматическом произнесении соединяющего их слова. Зарождающаяся обобщенность идеи состоит, стало быть, уже в некоторой деятельности духа, в *движении* между действием и *представлением*. Вот почему известного рода философии всегда будет легко, сказали мы, локализовать общую идею в одном из этих крайних пределов, кристаллизовать ее в словах или заставить улетучиться в воспоминаниях, тогда как в действительности она состоит в ходе духа, идущего от одного крайнего конца к другому.

IX. Представляя себе в таком виде элементарную умственную деятельность, делая из нашего тела со всем тем, что его окружает, последнюю плоскость нашей памяти, конечный образ, движущееся острие, которое наше прошлое ежеминутно толкает в наше будущее, мы подтвердили и уяснили то, что раньше говорили о роли тела и одновременно подготовили пути к сближению между телом и духом.

Исследовав чистое восприятие и чистую память, мы еще должны были сблизить их. Если чистое воспоминание есть уже дух и если чистое восприятие есть еще нечто от материи, мы должны были, поместившись в точке соединения чистого восприятия с чистым воспоминанием, пролить некоторый свет

на взаимодействие духа и материи. Фактически «чистое» восприятие, т. е. восприятие мгновенное, есть только идеал, предел. Всякое восприятие занимает некоторую толщу дления, продолжает прошлое в настоящем и тем самым причастно памяти. Принимая тогда восприятие в его конкретной форме, как синтез чистого воспоминания и чистого восприятия, т. е. духа и материи, мы включаем проблему соединения души и тела в ее теснейшие пределы. Мы пытались сделать это в особенности в последней части этой книги.

Противоположение этих двух принципов, в дуализме вообще, разрешается тройным противопоставлением непротяженного протяженному, качества количеству и свободы необходимости. Если наша концепция роли тела, если наши анализы чистого восприятия и чистого воспоминания должны уяснить с какой-либо стороны соотношение тела и духа, то лишь при условии отстранения или смягчения этих трех противопоставлений. Рассмотрим же здесь по очереди, представляя их в более метафизической форме, выводы, которые мы желали получить исключительно из психологии.

1. Если вообразить, с одной стороны, протяженность действительно разделенную на частицы, а с другой — сознание с его ощущениями неэкстенсивными сами по себе, которые проецируются в пространство, то очевидно, что нельзя найти ничего общего между этой материей и этим сознанием, между телом и духом. Но это противопоставление восприятия и материи есть искусственное создание разума, который разлагает и вновь слагает по своим привычкам и своим законам: оно не дано непосредственной интуиции. Нам даны неэкстенсивные ощущения: как могли они войти в пространство, выбрать там место, наконец, там координироваться для создания универсального опыта? Реальное точно так же не есть протя-

жение, разделенное на независимые части: не имея никакого возможного отношения к нашему сознанию, как может дать оно серию изменений, порядок которых и отношения с точностью соответствовали бы порядку и отношениям наших представлений? То, что дано, что реально, есть нечто промежуточное между разделенным протяжением и чистой непротяженностью, это то, что мы назвали *экстенсивным*. Экстенсивность есть наиболее очевидное качество восприятия. Уплотняя и подразделяя ее с помощью абстрактного пространства, подведенного нами под нее, для потребностей действия, мы образуем протяжение бесконечно делимое. Наоборот, утончая ее, заставляя ее то растворяться в аффективных ощущениях, то улетучиваться в подделках чистых идей, мы получаем те неэкстенсивные ощущения, из которых потом тщетно пытаемся воссоздать образы. И оба противоположные направления, в которых мы продолжаем эту двойную работу, естественно нам открываются, ибо из необходимостей действия вытекает, что протяжение разбивается для нас на совершенно независимые предметы (отсюда указание для подразделения протяжения) и что незаметными степенями переходят от чувства к восприятию (отсюда стремление предполагать восприятие все более и более неэкстенсивным). Но наш разум, роль которого именно устанавливать логические различия и, следовательно, резкие противопоставления, устремляется поочередно по обоим путям и по каждому идет до конца. Оно возводит на одном конце бесконечно делимое протяжение, а на другом — совершенно неэкстенсивные ощущения. Так оно создает противоположение, которое затем и созерцает.

2. Гораздо менее искусственно противоположение качества количеству, т. е. сознания движению: это второе противоположение радикально только, если сначала принять первое. Предположите, что ка-

чества вещей сводятся к неэкстенсивным ощущениям, поражающим сознание, так что качества эти представляют собою только как бы символы, однородные и измеримые изменения, происходящие в пространстве, и вы вынуждены тогда вообразить между этими ощущениями и этими изменениями непонятное соотношение. Наоборот, откажитесь от установления между ними а priori этой искусственной противоположности: вы увидите, как одна за другой падут преграды, их, по-видимому, разделявшие. Прежде всего, неверно, что свернутое в себе самом сознание присутствует при внутреннем шествии неэкстенсивных восприятий. Переместите чистое восприятие в самые вещи, и вы избегнете первого препятствия. Правда, вы встретите другое: однородные и измеримые изменения, над которыми оперирует наука, принадлежат, как кажется, множественным и независимым элементам, каковы атомы, и суть только их проявления; эта множественность станет между восприятием и его объектом. Но если разделение протяженности чисто относительно к нашему возможному действию на нее, то идея независимых тел *a fortiori* схематична и временна; к тому же, сама наука позволяет нам устранить ее. Так падает и вторая преграда. Остается пройти еще одно расстояние, отделяющее разнородность качеств от кажущейся однородности движений в протяженности. Но именно потому, что мы устранили элементы — атомы или что-либо иное, в которых эти движения совершаются, не может быть речи о движении, являющемся моментом движущегося тела, абстрактного движения, изучаемого механикой, которое, в сущности, есть только общая мера конкретных движений. Как может это абстрактное движение, которое становится неподвижностью, если переменить точку отправления, обосновать изменения реальные, т. е. ощущаемые? Составленное из ряда мгновенных положений,

как может оно заполнить дление, части которого продолжаются одна в другую? Остается стало быть возможной единственная гипотеза, что конкретное движение, способное, подобно сознанию, продолжать свое прошлое в своем настоящем, способное, повторяясь, порождать чувственные качества, есть уже нечто от сознания, есть уже нечто от ощущения. Оно тоже ощущение, но растворенное, распределенное на бесконечно большое число моментов; то же самое ощущение, вибрирующее, как мы говорили, внутри своей хризолиты. Тогда остается выяснить один последний пункт: как происходит сжатие, конечно, уже не однородных движений в отдельные качества, но менее разнородных изменений в изменения более разнородные? На этот вопрос отвечает наш анализ конкретного восприятия: это восприятие, живой синтез чистого восприятия и чистой памяти, неизбежно резюмирует в своей кажущейся простоте огромную множественность моментов. Между чувственными качествами, рассматриваемыми в нашем представлении, и теми же качествами, обсуждаемыми как измеримые изменения, различие только в ритме дления, различие внутреннего напряжения. Таким образом, идеей *напряжения* мы старались устранить противопоставление качества количеству, идеей *экстенсивности* — противоположение непротяженного протяженному. Экстенсивность и напряжение допускают многочисленные степени, но всегда определенные. Функция разума в том, чтоб отделить от этих родов, экстенсивности и напряжения, их пустое содержащее, т. е. однородное пространство и чистое количество, и тем подставить вместо гибких реальностей, допускающих степени, окоченелые абстракции, родившиеся от потребностей действия, которые надо принимать или не принимать, и тем ставить мышлению дилеммы, ни одна альтернатива которых не принимается вещами.

3. Но если так рассматривать отношения протяженного к непротяженному, количества к качеству, станет менее трудно понять третье и последнее противопоставление — свободы и необходимости. Абсолютная необходимость будет представлена совершенной однозначностью последовательных моментов дления между собою. Так ли это относительно дления материальной вселенной? Можно ли математически выводить каждый момент его из предшествующего момента? Всюду в этом труде, для удобства изучения, мы именно это и предполагали, и действительно расстояние между ритмом нашего дления и ритмом потока вещей таково, что связность вещей природы, столь глубоко изученная одной новейшей философией, должна практически быть для нас необходимостью. Сохраним же нашу гипотезу, хотя ее следовало бы смягчить. Даже тогда свобода не будет в природе царством в царстве. Мы говорили, что эту природу можно рассматривать как нейтрализованное и, следовательно, скрытое сознание, возможные проявления которого взаимно сталкиваются и уничтожаются именно в тот момент, когда они хотят обнаружиться. Первые проблески, бросаемые на нее индивидуальным сознанием, освещают ее неожиданным светом: это сознание только отстранило препятствие, извлекло из реального целого виртуальную часть, выбрало и высвободило то, что его интересует; и если этим разумным выбором оно свидетельствует, что по форме принадлежит духу, оно черпает из природы свой материал. Присутствуя при зарождении этого сознания, мы в то же время видим, как вырисовываются живые тела, способные, даже в самой простой своей форме, к самопроизвольным и непредвидимым движениям. Прогресс живой материи состоит в дифференциации функций, приводящей сперва к образованию, затем к постепенному усложнению нервной системы, способ-

ной регулировать раздражения и организовать действия: чем более развиваются высшие центры, тем многочисленнее становятся двигательные пути, между которыми одно и то же раздражение предложит действию выбор. Все больший простор, оставляемый движению в пространстве, — вот, что мы наблюдаем. Чего не видно, это напряжения растущего и сопутствующего сознания во времени. Не только памятью прежнего опыта сознание это все лучше и лучше удерживает прошлое, чтоб организовать его с настоящим в более богатом и более новом решении, но, живя более интенсивной жизнью, сокращая памятью непосредственного опыта растущее число внешних моментов в своем наличном длении, оно становится более способным создавать акты, внутренняя непредопределенность которых, распределяясь на какую угодно множественность моментов материи, тем легче проскользнет через петли необходимости. Так, рассматриваемая во времени или в пространстве, свобода всегда, по-видимому, пускает в необходимость глубокие корни и тесно с нею организуется. Дух черпает из материи восприятия, из которых он извлекает себе пищу и возвращает их материи в форме движения, в котором он запечатлел свою свободу.